



Ф.К.  
1926

*Александр Степанов.*



АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

ДЕВЯТАЯ ТЫСЯЧА

---

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“  
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

# АВДОТЫНА ЖИЗНЬ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Государственным Ученым Советом допущено  
для школьных библиотек II степени  
и для учительских библиотек

---

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка художника Д. Митрохина.  
Отпечатано в тип. ф-ки «СВЕТОЧ»,  
Ленинград, Б. Пушкарская, 18,  
в количестве 5.000 экзempl.  
Главкит № 68716. 16<sup>1</sup>/<sub>8</sub> л.  
1927

Цель, которую ставило пред собой изд-во „Земля и Фабрика“, выпуская настоящее собрание сочинений А. С. Неверова, была — во-первых, дать массовому читателю все лучшие художественные произведения Неверова; во-вторых, дать полное представление о развитии его писательского таланта. Поэтому и порядок распределения произведений принят строго хронологический, и включены некоторые, относительно слабые в художественном отношении, но очень ценные, как первые этапы творчества Неверова, его ранние рассказы; в приложениях даются некоторые статьи, стихотворения и детские рассказы, а также письмо Неверова к М. Горькому. В примечаниях дан полный список всего, что известно из написанного Неверовым, с указанием места напечатания; упоминаются также и известные лишь по заглавиям произведения Неверова.

Главной задачей издательства было дать, по возможности, наиболее правильный, выверенный текст произведений Неверова. Как и все подлинники художники, Неверов никогда не был доволен тем, что написал. Всякое свое произведение он без конца переделывал. По черновым рукописям можно установить иногда десятки последовательных редакций. Но и после того, как произведение появлялось в печати, Неверов вновь начинал его переделывать, если готовил к переизданию. Последнюю авторскую редакцию необходимо считать окончательной, отменяющей предыдущую. Поэтому большинство ранних рассказов Неверова, написанных в 1909 — 1918 г. г., даются в той редакции, которую придал им автор, готовя их к изданию в 1922 — 1923 г. г. От этой переделки рассказы значительно выиграли в смысле художественной изобразительности и языка, но вместе с тем в них изгладились те особенности стиля, которые были характерны для Неверова в первый период его творчества, при чем иногда пропадали некоторые небезынтересные детали и даже целые эпизоды.

В виду того, что почти для всех произведений нет возможности точно установить время написания, за основание датировки бралось время появления произведения в печати, кроме тех случаев, когда была известна точная дата написания.

Нередко под текстом у Неверова стоит двойная дата, напр. 1919—1922, при чем вторая цифра означает год переделки рассказа. В этих случаях произведения все же помещались под годом их первоначального опубликования. Вне хронологической схемы печатается (в последнем томе) лишь роман „Гуси-лебеди“, над которым Неверов работал пять лет, с 1918 г. до смерти.

К последнему тому приложен алфавитный указатель всех произведений Неверова.

Все вводные статьи и примечания составлены и весь текст отредактирован Н. Н. Фатовым.

Текст 2-го издания воспроизводится по 1-му без изменений, с исправлением замеченных опечаток.

## А. С. НЕВЕРОВ

### 1. ЖИЗНЬ

**А**лександр Сергеевич Неверов (Скобелев) — один из виднейших наших рабоче-крестьянских писателей.

Получив небольшое образование, живя в провинциальной глуши, в очень тяжелых материальных условиях, Неверов самоучкой, еще в дореволюционные годы, сумел пробиться на литературную дорогу, вызвав сочувствие и одобрение М. Горького, В. Г. Короленки и др. В годы революции, живя вдали от центра и в тяжелых бытовых условиях, Неверов загорается революционным пафосом и становится одним из крупнейших советских писателей. Смотря на мир глазами выходца из трудового крестьянства, он чутьем улавливает основные черты коммунистического миросозерцания, и уже с 1918 — 1919 г. г. начинает писать ряд замечательных произведений, которые навсегда останутся прекрасными памятниками великих лет.

О своей жизни, особенно о ранних годах, Неверов сам прекрасно рассказал в написанной им незадолго до смерти автобиографии. В ней обрисованы те условия, в которых будущему писателю приходилось расти и развиваться, в которых складывалось его мироощущение.

Приводим текст автобиографии целиком.

#### О С Е Б Е

Трудно рассказывать о себе. Или надо начинать по порядку, шаг за шагом, или выбирать отдельные моменты, наиболее яркие, наиболее характерные, оставившие след в моем творчестве, в моей психике.

Вот родословная: отец почему-то был приписан к мещанам г. Симбирска, но сидел на земле, занимался крестьянством. Мать — настоящая



неграмотная крестьянка. Отец для своего времени был довольно грамотный, развитый, служил унтер-офицером лейб-гвардии Уланского полка в Петербурге. Фамилия его — Скобелев. Моя фамилия: Неверов — литературный псевдоним. Родился я в 1886 году, 20 декабря<sup>1</sup>, в селе Новиковке, Мелекесского уезда (б. Ставропольский), Самарской губернии, — третьим по счету. Старше меня — брат, занимающийся теперь крестьянством, Иван Сергеич, и покойная ныне сестра. Отец тогда вошел в зятя в дом моей матери. Родился я, провел детство и юность до шестнадцати лет — исключительно в доме деда, который, не имея своих сыновей, считал меня чем-то вроде приемыша. По окончании военной службы отец отошел от деда, но я не пошел вслед за отцом и остался с дедом, так как он имел в то время бакалейную лавочку, и мне у него жилось недурно, — совсем не так, как моему старшему брату и сестре. Кстати сказать, отец любил выпить, часто скандалил под пьяную руку, и я в дом к нему ходил только вроде гостя на одну ночь. Крестьянство и тяжелая мужицкая работа отцу впоследствии совершенно надоели, и он, видимо, избалованный Петербургом, решил искать легкой жизни: продал дом, передал деду часть ребят на временное попечение и с матерью да со старшим сыном, которому тогда было лет двенадцать, ударился в Сибирь. Сибирь его встретила плохо, он перебрался в Самару, служил швейцаром, городовым, но, не будучи от природы чиновником, полицейским, вечно ссорился с начальством, закладывал лишнюю рюмочку и вообще считался человеком „плохим“, слабым. В это время померла мать, когда мне было лет двенадцать, и я с отцом почти порвал всякую связь, да и никакой связи собственно не было между нами, хотя по-своему любил его, но всегда стеснялся и большую привязанность чувствовал к деду.

Грамоте я научился очень рано, лет шести, от старшего брата, который тогда ходил к дьячку. Способности к учению у меня оказались хорошие, и я чуть ли не обогнал брата чтением. А когда меня, видимо, по моей просьбе, повели к тому же дьячку, имени которого сейчас не помню, я сказал там ему какую-то дерзость, вел себя непринужденно, за что был тут же посажен в темную комнату, напугался школы и еще не заглядывал туда больше году. А потом, как сейчас помню: низкое темное здание, длинные парты, грязный потолок и перегородка в церковную сторожку. Я сижу учеником на одной из парт и очень бойко отвечаю по закону божию попу Петрову, которого звали „курносый“. Грамоту, письмо и арифметику преподавал нам страховый агент и он же псаломщик — Д. А. Ивановский, человек, пораженный алкоголем, но очень добрый и простой. Он вечно лежал за перегородкой у сторожа, а я, как наиболее способный ученик, ходил с линейкой между парт, и за него, по его просьбе, показывал младшему отделению буквы. Память у меня была замечательная, и я с одного

<sup>1</sup> Т.-е. 1-го января нового стиля 1887 г. (в XIX в. старый стиль отставал от нового на 12 дней).

разу запоминал целый рассказ, целое стихотворение. О грамматике мы, ученики, не имели никакого понятия, и единственно, что сказал нам наш учитель, — это вот:

— Перед „а“, перед „что“ и „который“ пишется запятая.

Три отделения церковной школы я кончил лучшим учеником и решил сделаться крестьянином, пахарем, ибо к тому времени бакалейные дела у деда пошли на убыль, и он стал заниматься посевами. Крестьянская работа в поле казалась мне самой лучшей на свете, и я также быстро научился пахать сохой, жать серпом, плести лапты. Помню: плетение лаптей доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Я воображал себя каким-то старичком, и оторвать меня от этой работы стоило большого труда. Но продолжалось это увлечение недолго: как только постиг я лапотное искусство, тут же и охладел к нему. Это моя характерная черта: потом я и к крестьянству охладел. А были годы, когда я, десяти — двенадцатилетний мальчишка, воображая себя мужиком, крестьянином, имел свой кисет с табаком, на все вещи смотрел мужицкими глазами, подсаживался к мужикам, говорил о мужицком. Почистить, бывало, двор зимой, убрать скотину, выйти ночью к лошадям, съездить на гумно за соломой и потом позавтракать, посидеть за блюдом жирных дымящихся щей — было для меня что-то особенное, чего я и сам не мог понять.

Лет с пятнадцати началось во мне какое-то брожение. Вдруг ни с того ни с сего совершенно пропала охота к крестьянству и захотелось сделаться „половым“ (официантом). Видел я и раньше этих людей, когда ездил с дедом в Симбирск за товаром, и они производили на меня неотразимое впечатление: черные пиджаки, белые салфетки под мышкой, артистическое лавирование с подносами между столиков, звон посуды, дымящиеся чайники — все это волновало меня несказанно, и думал я, что лучше этой жизни ничего не может быть.

В год смерти моей матери попал я в Самару к отцу, прошел мимо чайной, и сердце мое затосковало смертельно, но вместо чайной жена городского, Анна Андреевна Бурмистрова, отвела в губернскую типографию и там определила мальчиком. Типографские машины, шум ремней, запах красок, огромные листы бумаги, выбрасываемой машинными „грабельцами“, моментально убили во мне любовь к чайной, и я подумал с трепетом душевным:

— Вот она настоящая жизнь.

Дали мне бостонку, заставили печатать штемпеля на конвертах для волостных правлений. Показывать и развяснять долго не пришлось. Выучился я моментально подкладывать конверты, ибо полюбил этот „фокус“, и через два — три дня изготовлял по несколько сот экземпляров. Я даже огорчился, когда кончались рабочие часы, и нужно было уходить из типографии. А потом опять перелом. Не помню точно теперь, но, кажется, через неделю, не больше, надоела мне вся типография, и моя бостонка, и мое занятие, ибо я достиг своего, а дальше меня не пускали в ход, нового ничего не показывали, и я больше не

являлся на работу, вернулся в деревню к деду и решил отдать себя крестьянству. Осенние деревенские ночи, осенние праздники, свадьбы, вечерки, девичьи посиделки, песни под гармонь — вся эта музыка коснулась как-то по-особенному моей души, и я ушел в эту жизнь, в эту поэзию целиком.

Но все это было не то. Я не знал самого себя. Какая-то сила опять оторвала меня от деревни и совершенно неожиданно увела в село Старую Майну, за восемнадцать верст, и поставила за прилавок в галантерейную лавку купца Никифорова. В лавке я чувствовал себя, как рыба в воде: пуговицы, ленточки, тесемочки, гребешки, булавки, иголки, запах скипидара, камфары, мыла, масла, красок, подметанье полов, беганье с чайником, разговоры с покупателями — вот где была музыка. А в дому купца по ночам после торговли была другая музыка: моя Новиковская дерюга и спанье на полу в кухне, тишина и заброшенность, строгий хозяйский окрик. Я чувствовал какую-то несправедливость. Эта несправедливость скоро выделилась в страшную скуку, и в базарный день, бросив в кухне хозяйской свою дерюжку, бежал я снова к деду, но не надолго. В этот же год осенью попал в посад Мелекесс (ныне уездный город) и встал за прилавок уже мануфактурного магазина купца Березина, или, вернее, не за прилавок, а около дверей. Опять увлекла меня новая жизнь: очень нравилось мне мерить материю, разворачивать платки, полусапки, разговаривать с покупателями, но меня, довольно большого парня (лет 16), больше всего заставляли бегать с чайником за кипятком, заправлять лампы, мести полы, убирать скотину на дворе.

Здесь необходимо сделать отступление.

Еще лет двенадцати или несколько раньше поразила я самого себя стихотворством. Случился этот грех со мной странно, непонятно, совершенно помимо моей воли. Был у нас в селе портной Тюкан. Зимой по вечерам мы, ребятишки, собирались у него на картежную игру и резались в три листика. Я, по обыкновению, всегда проигрывал. А у деда в дому очутилась в это же время лубочная картинка: разоренные домишки, пропившиеся мужики и здоровый краснощекий целовальник. Объяснение к картинке было написано стихами. Мне почему-то вдруг запахла в голову мысль написать вот такие же стихи и про Тюкана, который разоряет нас, ребятишек. Это, кажется, не вышло, а вышло совершенно другое: я, что называется, „продернул“ всю нашу улицу — Рязань, и вот уцелевшие в памяти строчки из первого моего „поэтического“ произведения:

Антон беднота,  
Митрий бормота —  
Квартал прочь.  
Кума Степанида,  
Тюкан коровья гнида —  
Квартал прочь. И т. д.

Прочел я все это ребятам, мужикам, бабам, вызвал смех, одобрение, и первая „слава“, первое сознание, что я умею складывать, сделали свое дело. Совершенно не имея никакого понятия о правилах стихосложения, я упорно складывал строчки, подбирая рифму, и вся прелесть стихотворного искусства заключалась для меня в том, что каждая строчка на конце „слово в слово приходится“.

И вот, очутившись в Мелекесе, я услышал однажды за хозяйским столом насмешливые разговоры о том, что на Большой улице у них живет сочинитель, а из Петербурга ему за это присылают деньги, и он будто бы получил целых сто рублей. Живя в Мелекесе, я тоже писал стихи в уголку за печкой и читал их кухарке Аксинье. Она была в восторге от моих стихов, часто даже плакала от „умиления“, но я никогда не думал о том, что стихами можно заработать сто рублей. Сердце мое вавонововалось. Я разыскал сочинителя (поэт-самоучка крестьянин Денисов из села Кондаковки), раскрыл перед ним тоскующую непонятную душу, показал свои опыты и, к огорчению своему, получил ответ:

— Надо учиться, знать размер, ударения.

Достал я, помню, синтаксис Кирпичникова и с головой ушел в учобу, чтобы осилить „знаки препинания“. Конечно, измучился, обалдел, ничего не понимая. Решил учиться всерьез. Но как? Где? У кого? Набрался смелости и пошел к священнику Высокову, рассказал: так и так, мол, поэт-сочинитель, хочу учиться — помогите. Помочь он не помог, но и смеяться не стал. Однажды, идя к нему в церковь, чтобы взять рекомендацию для поступления в Озерскую второклассную школу, увидел возле него маленького седого старичка-живописца. (Фамилии его, имя (!) и отчества, к большому своему огорчению, я не знаю). Священник показал ему на меня, тот заинтересовался, пригласил к себе на квартиру, ободрил, успокоил, решил устроить меня в Вольскую учительскую семинарию, но в виду того, что я был совершенно не подготовлен ко вступному экзамену, посоветовал поступить прежде в Озерскую второклассную школу, где экзамены попроще, дал на дорогу рубль денег, и я покинул магазин купца Березина. Отслужил молебен за пятачок, покрестился на соборную колокольню, и с сумочкой за плечами, с желанием учиться пошел пешком из Мелекеса за сорок верст в село Озерки на экзамен.

Подробности опускаю.

Поступил, стал учиться стипендиатом. Это было в 1903 году.

Через три года кончил, получил свидетельство учителя школы грамоты. Будучи учеником третьего отделения, напечатал первый рассказ в Петербургском журнале „Вестник Трезвости“, получил десять рублей гонорару. Радость нельзя было измерить ни ковшом, ни ведром, ни лопатой. Совсем очумел, что называется. По окончании школы поехал в Самару искать должность писца. День торговал газетами, три дня таскал мусор на постройке, устроил стихотворение в Самарской газете — ударился в Оренбург, где в то время кондуктором на железной дороге служил мой старший брат. Однажды читаю в оренбургской газете:

„Нужно лицо, умеющее писать стихи на злобу дня. Адрес: Гранд-Отель, спросить мадам такую-то“. Работы постоянной не было, и я подумал: „Могу ли я писать стихи на злобу дня?“ И тут же сказал самому себе: „Могу“. Пошел. Оказалось, что попал я к содержательнице кафе-шантана. Получил темы, лозунги. Как сейчас помню предложенную мне заключительную строку, которой должен заканчиваться куплет:

Он подрастет, он подрастет.

Это об одном молодом человеке, которого осматривал доктор, как венерически больного. И еще что-то было заказано о старичке, и т. д. Я посмотрел на это, как на хлеб, который мне нужен, взял заказы, просидел целую ночь, отнес — не приняли. Опять просидел целую ночь — опять не приняли. Носом у меня тронулась кровь от переутомления, но я опять работал. Приняли, заплатили мне пять рублей золотом, хвалили мои таланты, звали с собою в путешествие, просили захаживать к их девочкам, чтобы знакомиться с бытом, и говорили, что у меня „громкий талант кафе-шантанного поэта“. (Это буквально). Я, конечно, деревенский паренек, совершенно не понимал, куда я попал, ибо кафе-шантан казался мне большим театром, меня обожгли похвалой, и похвалила не кто-нибудь, а солидная дама, „барыня“, и я чуть не поскользнулся на этом пути, но письмо от „Нютки Лóгиновой“, моей первой любви, сразу меня отрезвило. Она (в то время гимназистка, революционерка лет 17) писала мне из Самары, что она вместе с товарищами идет в народ и будет бороться с царским произволом. Такого удара я не мог перенести. Как! Она, революционерка, идет в народ, возможно погибнет, а я пишу стихи о старичках! Нет, это нехорошо. Я тоже люблю народ, тоже готов служить ему бескорыстно своими „знаниями“, и вот я снова бегу в деревню и поступаю учителем школы грамоты на десять рублей в месяц в глухую деревушку Письмирь, Ставропольского уезда. По деревням я служил шесть — семь лет, потом женился в 1912 году, перешел в земство и еще прослужил года три. Затем был мобилизован на войну в 1915 году и с тех пор совершенно оторвался от школы. На войне все-таки не был, оказался „тыловым“.

После первого рассказа, напечатанного в „Вестнике Трезвости“, поместил там еще несколько рассказов, затем работал немного в „Русском Богатстве“, „Современном Мире“ и постоянно до 1917 года в „Жизни для Всех“, выступая преимущественно с рассказами из жизни учителей, сельского духовенства и крестьянской бедноты. В общем писал мало, по рассказу, по два в год. В 1922 году перебрался в Москву.

Вот как будто и все.

20/X [1923] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кроме приведенного текста автобиографии Неверова, есть еще и другой, под тем же заглавием „О себе“, но совершенно отличный по содержанию. В нем Неверов рассказывает, главным образом, о своих детских впечатлениях и настроениях. Эта автобиография напечатана в сборнике „А. С. Неверов“, изд. „Земля и Фабрика“, М.-Л. 1924.

Подробно описав условия, в которых складывался его талант, Неверов, конечно, далеко не все рассказал о себе.

Жизнь сельского учителя в глухой деревушке в то время была очень тяжела. Многие не выдерживали ее — или спивались, или меняли учительство на более выгодное положение — дьякона, урядника, приказчика. Неверову помог его писательский талант. Печатая довольно мало, по 2—3 вещи в год, он работал необычайно много и упорно. Писание, переписка, переделка уже написанного занимали у него все досуги; часто он работал до глубокой ночи или с самого раннего утра в летние дни. Большую поддержку оказала ему переписка с писателями. От В. Г. Короленки и М. Горького он получил одобряющие письма с советами и указаниями; переписывался Неверов и с издателем „Жизни для Всех“ В. А. Поссе, особенно же с двумя сотрудниками этого журнала — В. Я. Муриновым и И. Е. Лаврентьевым, с которыми он завел заочное знакомство и „отводил душу“ в письмах.

По журналам и газетам Неверов следил за событиями, и был настроен довольно оппозиционно по отношению к царскому правительству (у местного начальства он всегда считался подозрительным)<sup>1</sup>. Конечно, с нашей точки зрения, он не был в то время вполне „политически грамотным“, находясь под воздействием тогдашней прогрессивно-буржуазной печати. Но связь с трудовыми крестьянскими массами, живая наблюдательность сделали то, что впоследствии ему было легко понять и принять всю „правду большевизма“. Пребывание в рядах армии в 1915—1917 г. г. на многое открыло ему глаза.

Жаль, что „уста“ связаны молчанием, — пишет он, напр., 1 окт. 1915 г. И. Е. Лаврентьеву из военного лазарета, где служил фельдшером, — а то бы многое можно было рассказать и во многом разочаровать тех, кто еще не разочаровался.

Революцию он встретил с великою радостью.

Февральская, а затем Октябрьская революция, — рассказывает его брат П. С. Скобелев в своих воспоминаниях о Неверове (цитируются

<sup>1</sup> По словам школьного товарища Неверова, а теперь — писателя П. Ярового (Ф. Е. Комарова), Неверов, еще будучи учеником, пытался заниматься общественной деятельностью, поставив себе с товарищами целью борьбу с пьянством, борьбу за свободу женщины и пр. Будучи учителем, он часто вел с крестьянами беседы на общественные темы.

по рукописи), — были одними из самых торжественных и радостных событий в жизни А. Неверова, подлинного сына революционного народа, из недр которого он черпал силу и вдохновение.

Неверов не остался только зрителем революционных событий. С первых же дней он принял в них активное участие. Его избирают в Самаре в Совет Солдатских Депутатов, а потом, будучи демобилизован как учитель, он возвращается в с. Елань к своей семье и школе. В бесконечных беседах с крестьянами он пытается растолковывать им смысл событий, насколько сам их понимает. Ему доверяют, как своему, и он оказывается избранным в председатели волостного земства. Наблюдение над бытом деревни в это время дает Неверову богатый материал для его произведения „Гуси-лебеди“.

Зимой 1917—1918 г. Неверов перебирается опять в Самару, которая вскоре попадает в полосу белогвардейского нашествия. В связи с событиями, Неверову пришлось некоторое время прожить в Уфе, но в начале 1919 г. мы опять видим его в Самаре на активной советской работе. Распростившись навсегда с педагогикой, Неверов становится писателем-профессионалом. Он служил в Губвоенкомате, Лито, Роста, организовал „Дом Печати“, выполнял ответственную редакционную работу в журналах „Красная Армия“, „Понизовье“ и др. изданиях; много писал в самарской газете „Коммуна“. Номера выпускаемых им журналов он, в значительной степени, заполнял своими произведениями, печатаясь как под своей обычной подписью, так и под различными псевдонимами: Аско, А. Насмешник, А. Сергеев, А. Новиковский и др. Работа по редактированию отнимала у него очень много времени и сил, и относился к ней А. Неверов с любовью и с увлечением, особенно стремясь помочь начинающим писателям.

Тяга к писательству стихийно развилась в рабоче-крестьянской и красноармейской массе. Редакции заваливались рукописями — стихотворениями, рассказами, пьесами, статьями, заметками.

И вот все произведения, написанные нередко безграмотно на клочках бумаги, — говорит брат А. Неверова, — А. С. проверял и исправлял с особым, ему только свойственным, неверовским, терпением и внимательностью. Даже когда уже и не служил А. С. в редколлегии журнала „Красная Армия“, к нему совершали многочисленные паломничества

начинающие поэты-писатели с просьбой помочь им своим указанием и советом. И начинающие авторы, согреты внимательным дружески-ласковым отношением А. С., уходили, благодарные к нему, с удовлетворенными запросами, с светлой улыбкой на лице... Для каждого сомневающегося, не верившего в свои силы, у А. С. Неверова находилось теплое, согретое любовью к человеку, слово участия, ободрения.

Эту же работу продолжал Неверов впоследствии и в Москве, ведя специальную литературную страничку в „Крестьянке“ за подписью „Дядя Сережа“, давая много чрезвычайно полезных, порою одобряющих, порою суровых, но всегда дельных и ценных указаний начинающим писателям, помогать которым он считал своим долгом.

Литературная жизнь в Самаре шла довольно оживленно; там собрался кружок писателей: т.т. Герасимов, Дорогойченко, Степной, Гольдебаев, Дорохов и др. Открытие Университета внесло еще большее оживление, в Самару приехали столичные научно-литературные силы. Неверов принимал самое деятельное участие в устройстве литературных собраний, как в тесном товарищеском кругу писателей, так и для широких масс. Постоянно читал свои произведения, выступал с лекциями, участвовал в любительских спектаклях.

В это время Неверов уже вполне сложился как художник, определились и его идеологические стремления. Уже с 1919 года он пишет ряд рассказов (особенно важен: „Я хочу жить“), в которых проявляет ясное понимание сущности ведущейся пролетариатом борьбы. В ряде статей он разъясняет мероприятия советской власти, постановления Съездов Советов, идя рука об руку с РКП. К сожалению, в это время он не всегда встречает к себе достаточно внимательное и доверчивое отношение у местных работников. В письмах к другу-писателю А. К. Гольдебаеву он не раз жалуется на „червей, объедающих советское древо“, на местных советских бюрократов, которые относятся к нему с подозрительностью и недоверием.

К этому надо прибавить, что материальные условия, в которых приходилось существовать Неверову, были самые тяжелые. Он не имел даже квартиры, и ему ничего не оставалось, как жить в 3—4 верстах от центра, в семье своей мачехи, — по словам его брата, —



в маленькой грязной избенке, вся площадь которой равнялась 45 кв. аршинам. В такой избенке вместе с семьей А. С. стало жить 9 человек! Внутреннее устройство этого жилища довольно примитивное: в ней (в избе) 2 комнаты — одна, побольше, являлась „кухней“ и „столовой“ и „спальной“ для хозяев, а другая, маленькая, служила для А. С. с женой и 3-мя детьми главной квартирой. Эта комната, кроме кровати и стола, ничего больше не могла вместить. Вот в такой-то обстановке протекала жизнь и упорная литературная работа А. С. в течение 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> г.

Не говоря уже о полной невозможности уединиться для работы, Неверову приходилось испытывать постоянный голод, недостаток во всем, надрываться в тяжелой физической работе — колоть дрова, таскать тюки с бумагой в типографии, проходить каждый день пешком не менее 8—10 верст, пришлось пережить смерть ребенка и многое другое.

Но все это не надломило творческой энергии Неверова. Наоборот, он работает с необычайной интенсивностью. После изматывающего все силы дня он проводит чуть ли не целые ночи за работой, оставляя на сон 4—5 часов. При свете лампадки-ночника, примостившись на углу стола, в ужасных гигиенических условиях — он пишет, переделывает, исправляет свои пьесы, рассказы, статьи, работает над романом „Гуси-Лебеди“...

Шум, теснота, грязь, крик, — говорит его брат, — были постоянными условиями работы А. С. Испытывая постоянную нужду, ограниченный скудным казенным пайком, А. С. не мог купить керосину для простой лампы, и ему приходилось работать ночи в страшной духоте и копоти при маленьком пузырьке-коптилке. Работать главным образом начинал после того, как все улягутся спать, ибо при том шуме и крике, который царил с утра до вечера, вряд ли кто смог спокойно, сосредоточенно работать.

Но, живя сам в таких условиях, Неверов с необычайной отзывчивостью старался, чем мог, помогать другим. Так, все письма к старику-писателю А. К. Гольдебаеву проникнуты теплой заботливостью о его материальных делах; Неверов посылает ему посылки, уступает свой гонорар, чтобы „дед“ мог купить примус или зайти в ресторан выпить кофе. Узнав, что писатель А. Ремизов страшно голодает в Петербурге, Неверов посылает ему продовольственную посылку, хотя раньше не был с ним знаком и никогда не переписывался. Таких примеров исключительной чуткости и отзывчивости

Неверова можно привести десятки. Но самое замечательное — то, что все эти тяготы быта не убили светлого, революционного мирозерцания Неверова. Он энергично принимается за строительство новой культуры и всячески стремится воздействовать на массы.

А. С. один из первых, — говорит его брат, — приступил к организации литературно-художественных вечеров в рабочих и красноармейских клубах, расположенных большею частью на окраинах города. Искреннее желание нести в широкие массы искусство, художественное слово — брали верх над дальним расстоянием, над усталостью, и А. С., совместно с Н. А. Степным, П. Яровым и др. шествовали в бурю и непогоду в далекие клубы на лит.-худ. вечер. Всегда такие вечера проходили с большим успехом. Мастерское чтение своих произведений делало выступления Неверова очень удачными...

Занятый с утра до поздней ночи, получая совершенно ничтожное вознаграждение, Неверов еще находил время много читать и учиться. Он одно время слушал лекции в Университете, публичные доклады, лекции, которые устраивал приехавший из Петербурга писатель Н. Г. Виноградов. По словам последнего, Неверов с необычайной жадностью ловил каждое слово, каждое ценное указание, как бы стремился „напитываться знаниями“ от людей более образованных, чем он, наверстывая упущенное за ранние годы, когда высшее образование для него было закрыто. С большим вниманием он прислушивался и к товарищеской критике после чтения своих произведений в литературных кружках.

На свое писательское дело Неверов смотрел необычайно серьезно. Оно ему было дороже всего.

Окружи меня на всю жизнь золотом, — говаривал он брату, — посади в роскошнейшие дворцы и скажи, чтобы я не писал неделю, месяц — ни за что не соглашусь. К чорту отвергну такое предложение. Писатель должен стоять выше всякого золота и богатства, писателю нужна душа, а не золото. Ведь каждому писателю хочется сказать что-то свое... тем более в такую эпоху, когда революция перевернула всю жизнь до дна. На нашу долю выпало чрезвычайное счастье быть свидетелями и участниками величайших событий, жить в такое время и правдиво, без искажений и прикрас отобразить в своих произведениях хоть частичку российской революционной действительности.

Революция расковала стремления масс к культуре; как-то стихийно все бросились к тому, что раньше было недоступно, и

одним из таких увлечений был театр. Неверов, недовольный существующим репертуаром, начинает писать одну за другой пьесы, которые получают премии на конкурсах — всероссийских и местных („Бабы“, „Захарова смерть“, „Гражданская война“) — и ставятся на сцене с громадным успехом, нередко с участием самого автора, оказавшегося прекрасным артистом.

Тяжелые условия жизни в Самаре породили у Неверова стремление перебраться в Москву. Но ехать, не имея никакой материальной „базы“, с семьей было невозможно. Поэтому Неверов решает предпринять специальную поездку за хлебом в Туркестан, чтобы, оставив семье запас, самому перебраться в Москву, устроиться, а затем уж перевезти и семью. Осенью 1921 года Неверову удалось съездить в Ташкент. По дороге он наблюдает потрясающие картины голода, сцены иступленной погони за коркой хлеба, последнего отчаяния и отупения. Поездка, несмотря на все ее трудности, закончилась благополучно, дав Неверову материал для его „Ташкента — города хлебного“ и ряда мелких вещей („За хлебом“, цикл „Страдания“ и др.), исключительных по силе выраженного в них трагизма. Вот как рассказывает об этой поездке брат А. С. Неверова, сам ездивший с ним:

Наступивший голод 1921 года разогнал самарских писателей в разные стороны. Не избежал этого и А. С. с своей семьей... А. С. со Степным и со мной, благодаря энергии и содействию писателя П. Н. Дорохова, поехал в „Ташкент — город хлебный“, имея всего денег пуда на 2 по ташкентским ценам; пришлось поэтому А. С. захватить самовар, горелку, бритву, сломанные карманные часы и... больше, кажется, ничего... Всю дорогу от Самары до Самарканда А. С. сильно болел малярией. А ехали туда целый месяц, останавливаясь на каждой станции, где меняют бригады, на 2—3 дня... Ужасные картины голода, стоны несчастных детей и взрослых сопровождали нас на всем пути туда и обратно... А. С., сам больной, страдающий о своей семье, оставленной без куска хлеба, не мог равнодушно смотреть на трагедию голодных, умирающих, цепляющихся за крыши вагонов, за буфера и срывающихся в бессилии под колеса... Поездка длилась 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца. Приехали больные, грязные, оборванные, но все-таки с маленьким запасом муки...

Зиму 1921 — 22 г. Неверов провел еще в Самаре и лишь весной 1922 г. перебрался в Москву, куда раньше его переехали некоторые писатели-самарцы. В Москву Неверов явился

уже вполне сложившимся, крупным писателем. Поэтому он сравнительно легко осваивается в Москве, входит в различные литературные организации, становится желанным сотрудником ряда журналов и газет, устраивает в печать собрание своих рассказов и пьес.

Увлеченный энергичным темпом московской жизни, Неверов развивает интенсивную деятельность. Он печатает свои книги, пишет ряд крупных произведений („Андрон непутевый“, „Ташкент“ и др.) и большое количество мелких как художественных, так и агитационных рассказов, — работая в „Крестьянке“, „Работнице“, „Красноармейце“, „Рабочей Газете“, „Крокодиле“ и других изданиях. Он принимает участие и в редакционной работе в „Крестьянке“ и „Крестьянской Газете“, пишет ряд рассказов для детей, постоянно выступает с чтением своих произведений на литературных вечерах.

Не удивительно, что при таком быстром темпе жизни организм Неверова надорвался. У него было больное сердце, к тому же он курил и иногда пил... Роковая развязка пришла совершенно внезапно. В день смерти, 24 декабря 1923 г., он был бодр, полон планов и предположений — он мечтал немного освободиться от редакционной работы и основательно засесть за писание задуманной им „Повести о бабах“, для которой он летом 1923 г. ездил собирать материал в деревню, на родину, и большого эпического полотна, должствующего изобразить весь размах нашего советского строительства...

Но... сердце вдруг перестало работать, и полная творческими возможностями работа мозга оборвалась... Накануне смерти, 23-го декабря 1923 г., Неверов бы избран действительным членом Общества Любителей Российской Словесности при 1-м Московском Государственном Университете.

В похоронах Неверова участвовала вся литературная Москва, участвовали и его читатели — красноармейцы и рабочие...

За три года, протекшие со смерти Неверова, его имя получило огромную известность; многие сочинения его переведены на ряд иностранных языков, о нем уже создалась

довольно значительная литература<sup>1</sup>; и значение Неверова, — как писателя оригинального, который не только займет особую главу в истории литературы, но который уже создал свою школу, — вполне определилось.

## 2. Творчество

Социальные корни творчества Неверова совершенно ясны. Из автобиографии его мы видели, что он родился, вырос и до тридцатилетнего возраста почти безвыездно жил в деревне, сначала как рядовой крестьянин, потом как сельский учитель.

Для формирования писателя особенно важны первые годы его сознательной жизни. Они дают ему неизгладимые впечатления от внешнего мира, дают знание быта, той среды, в которой растёт писатель, — дают то, что для художника слова наиболее существенно — его „орудие производства“: его язык.

<sup>1</sup> Укажем главнейшую литературу:

1. „А. С. Неверов“. Сборник, составл. Литерат. О-вом „Никитинские Субботники“, под ред. Е. Ф. Никитиной, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924, стр. 174. Содержит, кроме литературного материала, следующие воспоминания и статьи:
  - Е. Ф. Никитина. „Другу“.
  - Н. Степной. „Поездка в Ташкент“.
  - П. Дорохов. „Последние минуты А. С. Неверова“.
  - Е. Ф. Никитина. „А. С. Неверов“.
  - С. Шувалов. „Композиция рассказов Неверова“.
  - Л. С. Гинзбург. „Дети у Неверова“.
  - А. Насимович. „А. С. Неверов — детский писатель“.
  - Е. Ф. Никитина. „Библиография произведений А. С. Неверова“.
2. „Неверову — Алый Венок“, сборн. изд. „Красная Новь“ — ГИЗ, М. 1924, стр. 212.
  - Статьи: П. Яровой. „Александр Сергеевич Неверов-Скобелев. Биографический очерк“.
  - А. Дорогойченко. „Александр Неверов“.
3. Л. М. Клейнборг. Очерки народной литературы, Л. 1924, гл. VIII, стр. 184 — 185, 190 — 195 (автобиография).
4. Н. Н. Фатов. „Классовые корни творчества А. С. Неверова“ — „Красная Новь“, 1924, кн. 7—8, дек., стр. 368—380.
5. Якубовский, Г. Александр Неверов. (Литературный портрет) — „Новый Мир“, 1925, № 2, стр. 111—122, и „Литературные портреты“. Писатели „Кузницы“, ГИЗ, 1926, стр. 24—42.

Психология писателя, угол зрения, под которым он воспринимает мир, — все это, в значительной мере, определяется детскими и юношескими годами; ими закладывается главная основа, из которой вырастает все творчество писателя.

Эта основа у Неверова была крестьянская, трудовая, середняцкая. Неверов прекрасно знает условия крестьянского быта, труда, крестьянскую, „мужицкую“ психологию, потому что он с 10—11 лет уже „чувствовал себя мужиком“, „на все вещи смотрел мужицкими глазами“, думал по-мужицки, „говорил о мужицком“, с любовью и увлечением сам исполнял всякую мужицкую работу. У Неверова великолепный народный язык, сочный, остроумный, меткий, чисто-русский. Неверов-писатель умеет глядеть на мир глазами трудового сознательного крестьянина, понимающего, что единственно правильный путь — вместе с пролетариатом.

Не удивительно, что в огромном большинстве произведений Неверова место действия — деревня, действующие лица — крестьяне. Их судьбой интересуется автор, их горестями он болеет, об их темноте сожалеет.

С первых своих рассказов и до последних „посмертных“ произведений Неверов неизменно остается художником-социологом деревни. Не из книг, а из самой жизни он узнает о положении деревенской бедноты в дореволюционной России, о тяжелом придавившем деревню социальном гнете,

6. В. Л. Львов-Рогачевский. „Александр Неверов“ — „Современные писатели в школе“, под ред. А. Ефремина, И. Кубикова и С. Обрядовича, Л. 1925, стр. 157—172.
7. Протопопов, А. „Знакомство с писателем Неверовым во II ступени“ — Там же, стр. 173—177.
8. Коган, П. С. „А. С. Неверов“ — статья в „Красной Звезде“, 1925, № 212; перепечатано в книге „Красная Армия в русской литературе“.
9. Н. Н. Фатов. „А. С. Неверов. Очерки жизни и творчество“. Изд. „Прибой“, Л. 1926, стр. 216.
10. Александр Неверов. Собрание сочинений, не вошедших в семитомное издание „Земли и Фабрики“. Три тома. Редакция, вступительные заметки и примечания Н. Н. Фатова. Изд. „Современные проблемы“. Т. I. — „Измена“, М. 1926; т. II — „Бабыя воля“, М. 1926; т. III — Письма (печ.).
11. Е. Ф. Никитина. Русская литература от символизма до наших дней, М. 1926, стр. 244—248 (указатель литературы).

осуществляемом кулаками, помещиками и вершащим их волю „начальством“.

Уже в самом первом рассказе „Горе залили“ один из крестьян — „дядя Антон“ — пускается у Неверова, еще не овладевшего тайной передачи народной речи, в такую философию:

— Да, поди-ка ты вот... живут этто, братцы, на свете, значит, люди, — одни хорошо, а другие плохо; почему это так выходит?..

— Почему это так? Вот ежели взять, к примеру, того же Микиту Степаныча. Живет человек в довольстве, нужды не имеет, пьет, ест, а ты живешь как... Эх... — и дядя Антон трагически махнул рукой...

— У ево, чай, землицы-то побольше, чем у нас у всех! — вставил слово до сих пор молчавший Никифор, который с какой-то озлобленностью смотрел из-под рваной шапки, сдвинутой на самый нос. — Вот ему и хорошо. А мы как живем...

Этот же вопрос проводится Неверовым через ряд рассказов, в которых изображаются, с одной стороны, мироеды-кулаки, с другой — бедное крестьянство („Свой человек“, „Красноармеец Терехин“, „Новый Дом“ и др. до „Гусей-лебедей“), где расслоение крестьянства на кулацкое и бедняцко-средняцкое выступает особенно ярко и выливается в форму революционной борьбы, когда крестьяне начинают понимать, что хотя они работают с кулаком и одинаковое количество времени, но результаты получаются совсем не одинаковые: одни все-таки остаются босыми, а у других накапливаются „тыщи“. На вопрос Павла Перекатова, сына деревенского „буржуа“, —

— Разве богатые мужики не работают от зари до зари? Разве у них не такие же мозоли на руках? — Федякин неожиданно поднялся, собирая морщинки на лбу, взглянул на Павла потемневшими глазами.

— Ты погоди мозоли считать! Вот сюжет: у твоего тятяшки мозоли, и у моего тятяшки мозоли. Твой тятяшка работал, и мой тятяшка работал. Твой тятяшка наковырял пятистенную избу с палисадником во всю улицу, а мой, дай бог ему здоровья, до сих пор не вылезет из свиной гайнушки. Это как понимать?

Вопрос, не требующий ответа. К осени 1917 г. крестьянство уже знало, как это понимать, и в чем тут причина; знал это и Неверов, живо изображающий, как „беднота“ принялась отбирать награбленное разными Перекатовыми, добравшись

до амбаров, наполненных хлебом, до лошадей с коровами, до всего, чем хороша была перекатовская жизнь.

Неверов прекрасно чувствует то озлобление, которое накапливалось у крестьянина-бедняка против богатеев. Вот перед нами рассказ „Последнее средство“. Засуха в деревне. Мужики знают одно средство борьбы с наступающим голодом — молеbstвовать:

Молеbstвовали мужики, поднимали иконы. Верст за пятнадцать обошли поля, изустили, изовалились на пыль, духоту, на о. Николая, взявшего за молебен четыре рубля — пользы не было.

А кулаки не дремали, — им на народной беде — пожива:

Богатые мужики потревожили копна на гумнах, разогнали мышей, разом подняли цены на хлеб. Перепуганная нищета стала нырять из стороны в сторону, предлагая себя в косцы и в жнецы и на все дела, на какие только вздумается богатому человеку употребить выносливые руки...

Один из бедняков, Василий Софронов, доведенный до последней крайности, отправляется закладывать тулуп, чтобы достать хоть с пуд муки, после того как баба „затеяла последнюю квашню“. Но никто не дал и пуда.

Побывал он с закладом и у лавочника Федора, и у другого лавочника Федора, торгующего на Нижней улице, и у церковного старосты. Ни в одном дому не нашел охотника променять хотя бы за тридцать фунтов муки дубленую шубу. В сердце поднималось озлобление. И если бы можно было раздавить зареченских богачей, как давят толстых наевшихся вшей, он бы сделал это с большим удовольствием...

Кончилось тем, что Василий решил на преступление — только не против богатеев, а пытался зарезать и ограбить случайно встреченного на дороге „нищего“ с плотно набитой мошной...

Не меньшее озлобление у крестьян и против барского гнета:

Каторга, а не жизнь, — жалуется мужики в рассказе „Горе залили“. — Земли мало, да и та кругом в барской... прижали нас, как ужа вилами. Нельзя скотину никакую выпустить на поле, сейчас и загонят. Кур, и тех хоть держи на приколе. А загонят — не помилуют, припасай полтину...

В рассказе „Музыка“ сторож Парфен, слушая, как из барского дома по ночам слышатся звуки рояля, разгорелся „глухой печалью“, „звериной злобой“ —

В щепки разметет Парфен барскую жизнь, кровью вымоет землю,



потому что под эту барскую музыку острее ощутил Парфен свою „заплеванную вшивую наготу“, свои „грязью замазанные раны“, — и он поджигает барскую усадьбу с ее проклятой музыкой<sup>1</sup>.

Не выдерживают мужики голода в рассказе „На земле“ и скоро на опыте узнают, за кого стоит „начальство“ и для чего оно существует:

Ранним утром весной собрались мужики около барских амбаров. Подошли к конторе, сняли шапки.

— Хлеба!

Управляющий расхохотался.

Мужики сняли замки у амбаров.

А на другой день приехали „начальники“. Десять телег насажали мужиков, увезли и (Фелькина) отца. Дорогой помер он под прикладом солдатской винтовки...

Но случаи протеста были редки и неорганизованны. Чаще всего крестьянство, темное, забитое, „заливало“ свое горе в пьянстве и выделяло из своей среды своих же собственных угнетателей — унтеров, урядников, городских, жандармов.

Всю эту жизнь Неверов передает с большой правдивостью и яркостью, насколько, конечно, это возможно было в условиях царской цензуры.

С точки зрения сознательного передового крестьянина подходит Неверов и к изображению революционных событий. Колоссальное значение имела для деревни война. Она открыла ей глаза на многое, многих превратила из стада баранов, послушно шедших в бой за кулацкие и барские интересы, в сознательных людей.

Наступила война с Германией.

Собрала судьба мужиков, поставила словно баранов, приготовленных на убой, сказала:

— Идите.

Не хотелось итти, плакали, упирались и все-таки пошли. А когда уцелевшие вернулись домой с пустыми болтающимися рукавами вместо потерянных рук, с короткими обрубками ног — судьбой возмущались, жаловались, но плюнуть в лицо ей никто не решался.

<sup>1</sup> Этот рассказ особо примечателен. В то время не мало писалось об „аграрных беспорядках“, как их переживали помещики. Неверов впервые попытался подойти к этому явлению с точки зрения крестьянина.

Пришла революция.

Это была не судьба, созданная невежеством, а гневная народная воля... („Красноармеец Терехин“).

Революции в деревне Неверов посвящает лучшие свои произведения: „Андрон непутевый“ и „Гуси-лебеди“. Неверов понимает, что „перевернулась земля другим боком, взошло солнышко с одной стороны“. И перед читателем в мастерских картинах проходит классово-расслоенная деревня эпохи гражданской войны.

Один слой — кулаки, а также все старое, косное, темное, во главе с богобоязливими стариками и старухами. Плохое им стало житье.

Сенин старик при смерти — причаститься негде. Евлаха Кондратьевна родила — крестить некому. Вот они хорошие порядки. Тринадцатый человек родила при старом режиме — такой заботы не было... („Андрон непутевый“).

Придут старики в исполком к Андруну, посмотрят на „картинки большевистские“ — плюнут с досады:

В часовне был у твоего сына. Больно хорошо, лучше некуда. Новых святых произвел...

И борется с ними — другой слой — деревенская беднота и молодежь, — Андрон и его товарищи, Федякин с Ледунцом — „большевики“ („Гуси-лебеди“) ведут борьбу не на жизнь, а на смерть и побеждают, должны победить...

Третий слой — среднее колеблющееся крестьянство особенно хорошо изображено в „Гусях-лебедях“, где рисуется деревня во время чехо-словацкого нашествия. Пришедшие чехи дают очень хорошие „уроки“ крестьянству, и оно быстро делается „большевистским“.

Каждая избенка смотрела на прибывших чехов сухим враждебным глазом, каждый газетный обрывок, призывавший на войну с большевиками, казался насилием над честью и совестью мужика, и каждую ночь в одиночку гибли молодые веселые чехи от руки невидимых большевиков.

Смерть не дала возможности Неверову описать деревню позднейшей эпохи, эпохи строительства, — об этом только мечтал писатель. Но идеалы новой жизни для Неверова вырисовались с полной ясностью.

В годы самой острой гражданской войны Неверов пришел к коммунистическому мирозерцанию и понял, как им путем надо идти, понял, что спасение крестьянства только в союзе с революционным пролетариатом. Необычайно важен для характеристики настроения Неверова рассказ „Я хочу жить“, написанный в 1919 году.

Перед нами — горожанин-полупролетарий, который добровольно идет сражаться за новую жизнь в рядах Красной армии.

Когда я родился, — говорит он, — светлые просторные комнаты были заняты другими, счастливыми. Нам с матерью достался сырой подвальный угол...

И понял он.

Мы с матерью не зря посажены в подвальный угол, и не волею отдельного человека, а волей тех, кто занял над нами светлые, просторные комнаты. Волей целого класса, ради которого сотни тысяч, миллионы других людей должны по-звериному пачкаться в слякотных подвальных углах.

И вот он идет в бой, так как „другого пути нет“.

Я хочу жить... Хочу, чтобы жили и радовались Сережка с Нюской, жил и радовался весь наш нищий квартал, выгнанный „верхними“ людьми на помойки...

И оттого, что я хочу жить, оттого, что нет иного пути сделать это проще и легче — любовь моя к жизни ведет меня в бой...

В последние годы, когда „бои“ прекратились, когда победа на основном фронте была одержана, Неверов все свое внимание обращает на фронты хозяйственный и просветительный. Он пишет десятки мелких агитационных рассказов (в „Крестьянке“, „Работнице“ и др. журналах), в которых пытается разъяснить деревне, как надо бороться с темнотой, невежеством, бесхозяйственностью. Он знает, что теперь прежде всего надо „заставить мужика поверить в науку“ („Гайка“), что только тогда деревня сумеет выйти на путь светлой жизни, только тогда она заживет подлинно „по-новому“.

Борьба крестьянства за свою подлинную свободу, т.-е. за подступы к социализму, и составляет, строго говоря, главное содержание всего творчества Неверова, его основной пафос.

Изображая „мужицкую“ жизнь, Неверов особое внимание уделяет и „бабьей доле“. Воспеть женщину — было заветной

мечтой Неверова. Старая Русь давала мало материала для радужных красок. Тяжела была женская доля, и Неверов ее изображению посвятил не мало творческих сил.

От одного из ранних рассказов — „Авдотьиная жизнь“, где перед читателем проходит дикое, звериное в деревенской жизни, когда пьяный мужик смертным боем бьет свою жену, до последней „Повести о бабах“ — Неверов изображает женщину — вековечную страдальицу — нашу деревенскую „бабу“:

Сорок два года работала и все молчала. Плакала украдкой и все молчала. С двоими мужьями жила на недолгом веку. Оба они ее били: и в будни и в праздники, и пьяные и трезвые. Били со злобой, и без улыбки, как бьют лошадей от нечего делать. А она, Дарьиная мать, улыбалась им добрыми овечьими глазами, величала по имени-отчеству, плакала втихомолку и молчала...

Но рядом с этой бабой — рабой Неверов сумел еще очень рано, задолго до революции разглядеть и другую женщину, способную на борьбу, полную огромных, прекрасных сил, способную на строительство новой жизни. Такова, напр., Домна Скорнякова, прозванная „бабой-Иваном“:

Росту была высокого, полногрудая, лицом красивая, разговаривала не торопясь, каждое слово вылуживала и языком попусту не щелкала. Умная баба. Умела работать и сохой, и косой, и серпом, и вилами.

Она выступала за своего пьянчугу-мужа на сходе, не робела и перед становым, а когда муж спьяну повесился, она сумела отомстить кабатчику, спойвшему ее Максима. („Баба-Иван“, 1910 г.).

Огромное значение для деревенской женщины имела война; она —

взвалила на плечи ей огромную тяжесть... Но женщина не упала под ней... она только окрепла и, кроме женского, почувствовала в себе человеческое... („Черное и белое“).

Во время войны бабы стали хозяйевами. Они сумели организовать и выпустить газету („Бабына газета“), хотя завести школу, они начинают думать, „как жить“. В рассказе „Черное и белое“ перед нами тип совершенно новой женщины, разбуженной войной, — зовут ее тоже Домной. Она уже смело протестует против рабского положения женщины, против мужьев, которым „все позволено“.

Едут домой на побывку, заезжают в торговый... Из дому едут — туда же... и нас заражают... Но мы и тут как бабы... Ладно! Муж гниет, и жена гниет. Куда же деваться? Жалеем... не ропщем...

Почти те же слова произносит героиня пьесы „Бабы“, написанной позднее, но действие которой происходит во время войны, и ее слушают соседки и соглашаются с ней:

Дуры мы! Эх, какие дуры!..

Большое влияние оказали на „баб“ австрийские пленные (пьеса „Бабы“, рассказ „В плену“), более культурные, чем их „мужики“, считавшие своим долгом обязательно напиваться и бить жен до полусмерти.

Бабы стали более свободно располагать собой, перестали стесняться свободной, не рабской любви (Домна в „Бабах“), стали требовать равенства и в этом отношении с мужиками.

Я ему тоже пишу. Любить тебе не запрещаю, дорогой супруг, хоть десяток зараз, но ежели захватишь от милой подруженьки, распрощайся со мной наперед... А ежели захочешь показать силу, то сила на силу найдет. („Черное и белое“).

В рассказе „Неразбериха“ молодая вдова уже смело отвечает на вопрос, пойдет ли она замуж:

— А иначе разве нельзя?..

— Я уж жила венчанной... попробую еще невенчанной...

Но вот пришла революция и вдохнула новое содержание в ту борьбу, на которую отважились ранее забытые „бабы“. Не только в отстаивании личной свободы, но и на пути революционного строительства они сумели проявить себя. Об руку с Андроном идет полюбившая его „Прохорова Аннушка“, вместе с ним сидит она в исполкоме, заведует „женским отделом“. И намечается новый прекрасный товарищеский союз молодого парня и молодой женщины — союз, основанный и на любви и на общем деле одновременно.

Яркий образ женщины-революционерки в условиях деревенского быта изображает Неверов в небольшом рассказе „Марья-большевичка“. Сначала она мужу во всем подчинялась, но как появились большевики со свободой, да начали бабам сусоли разводять, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, тут и Марья раскрыла глаза.

Муж хотел ей „голову оторвать“, но она отвечала:

Только тронь: все горшки перебью о твою козоначью голову,

стала читать газеты, книжки, „женотдел“ организовала, курсы; наконец, Марью в совет выбрали. Мужики удивляются:

Приходим в совет поглядеть на нее — не узнаешь. Стол поставила, чернильницу. Два карандаша положила — синий и красный. Около секретарь с бумагами строчится. А она и голос, проклятая, другой сделала. Так и ширяет глазами по строчкам.

— Это по продовольственному вопросу, товарищ Еремеев?

Разведет фамилию на бумаге и опять, как начальник какой:

— Списки готовы у вас? Поскорее кончайте!..

Такие же новые женщины изображаются в маленьких рассказах: „Горе-горькое“, „Комитет“, „Захотели бабы — сделали по-своему“, „Аппарат“, „Головка“ и др. В рассказе „В путь-дорогу“ — перед нами молодая женщина-вдова, которая идет в город учиться на рабфаке.

В „Повесть о бабах“ Неверов также думал ввести образы новых женщин, смелых и бодрых строительниц новой жизни, но не успел этого сделать.

Изображая женщину, как борца за свою женскую свободу, как организатора-строителя новой жизни, с успехом заменяющего мужчину, Неверов подходит к женщине и с другой стороны.

В прелестном рассказе „Полька-Мазурка“ он выводит простодушного мужика Гурьяна, который встретил на станции очаровательную, по-городскому одетую, девушку Тоню, повез ее домой, да и потерял совсем голову. Всю жизнь Тоня ему может перевернуть. Несколько в ином духе рисуется в рассказе „В садах“, целиком пронизанном ярким солнцем, здоровой страстью, „свободная“ девушка Маринка; она кружит голову и сорокалетнему садовому сторожу Симону, и парню Игнашке, и „губпродкомовскому агроному Ескину“, у которого тридцатипятилетняя жена и пять ребятишек: трое умерли, двое живы.

В последние годы Неверов пытался воспеть женщину в небольших лирических миниатюрах: „Радушка“, „Поэма о женщине“, „Отрывной календарь“, „Любовь“, „Человек без одежды“ и др. Эти своего рода „стихотворения в прозе“, крайне любопытные для характеристики настроения Неверова, пытавшегося воплотить в творчестве свою мечту о прекрасной, яркой, солнечной жизни, о том, чего ему недоставало в реальной

окружающей его обстановке, все же являются малохарактерными для Неверова в целом, представляя собою красочный, но все же второстепенный мазок на общем реалистически-бытовом фоне неверовского полотна.

Мечтая о прекрасном, Неверов не мог не видеть в реальном быту больше тяжелых, мрачных картин, которые и рисовал порою с жуткой правдой.

Особенно потрясают его произведения, вызванные впечатлениями голода 1921—22 г. г. Таковы рассказы „Далекий путь“, „За хлебом“, пьеса „Голод“, большая повесть „Ташкент — город хлебный“ и цикл миниатюр „Страдание“. Из рассказов близких к Неверову лиц и его писем мы знаем, как остро переживал он ужасы голода, когда дело доходило до того, что родители бросали живых детей и съедали мертвых. Во время путешествия в Ташкент Неверов видел не мало кошмарных сцен и с захватывающим реализмом сумел передать их.

Нельзя спокойно и сейчас читать такие строки:

Станция забита, лежат в третьем классе, лежат в первом классе, по коридорам, под ногами — кому где удалось. „Классы“ похожи на стойла. Тут же мочатся, испражняются, не в силах выползти наружу. Пачкаются сами, пачкают других в темноте, с ужасом ждут смерти в далекой чужбине. Безумьем, отчаяньем горят темные впадины глаз, беспомощно тянутся костяки тощих обессиленных рук:

— Товарищ, кусочек!

Иступленная мать кричит на ребенка:

— Задушу!.. Вот сейчас задушу! Смертушка!

А сама целует, прижимает „дитю“, плачут в два голоса...

(„За хлебом“).

Но, может быть, самое страшное, что вообще было написано о голоде, — это коротенькие „стихотворения в прозе“ из цикла „Страдание“ и рассказ крестьянки-людоедки „Обыкновенное“. Их надо прочесть целиком, чтобы почувствовать всю кошмарность голодного года, когда люди ели тараканью шелуху, когда сын покушался зарезать старуху-мать, когда человеку, доведенному голодом до иступления, виделась всюду черная кошка, а свой собственный ребенок представлялся в виде ягненка, которого можно задушить...

В повести „Ташкент — город хлебный“ ужасы голода преломлены сквозь психику мальчика, двенадцатилетнего Мишки,

отважившегося на героический подвиг — путешествие за хлебом за 2.000 верст для спасения от смерти своей матери и двух братишек. Несмотря на все описанные ужасы, повесть кончается „благополучно“: Мишка возвращается домой с хлебом и, полный бодрости, думает о том, что „заново придется налаживать ему все хозяйство“. Двенадцатилетний Мишка, быть может, помимо воли автора, вырастает поистине в символическую фигуру. В его лице перед нами как будто стоит вся молодая (еще и двенадцати лет нет!) Советская Республика, только что перенесшая ужасы голода, блокады, разрухи, войны и все-таки полная бодрости, и будто не Мишка, а весь трудовой, освобожденный от гнета капитализма, народ говорит устами Мишки: „Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться“...

Как в этой повести, так и в нескольких других рассказах Неверов выявил себя мастером в трудной для писателя области — изображения детской психологии.

Мастерски передана детская психология в рассказе „Колька“, в котором Неверов выводит „банду“ городских мальчишек-хулиганов, но с исключительной правдивостью умеет в них подметить и показать подлинно-детское и сделать их симпатичными читателю, несмотря на то, что это самые что ни на есть прожженные жулики. Столь же хороши рассказы: „Как у нас война была“, „Большевики“, „Яшкина скука“, „Красный сыщик“ и некоторые другие.

Эти рассказы одинаково интересны и для взрослых, и для детей. Но кроме того, в последние годы Неверов написал несколько специально детских рассказов. В этих рассказах для детей все просто, понятно детям. В них нет и тени сентиментальности, фантастики, чем обычно пичкают детей. Рассказы теснейшим образом связаны с современностью, они дают детям здоровую пищу и показывают, как нужно писать для детей в Советской России.

Кроме произведений, связанных с бытом крестьянства, есть у Неверова группа рассказов и на иные темы. Так, прежде всего, выделяются рассказы (большинство из них помещено в I томе) о сельских учителях, затем рассказы о духовенстве.



Сам — сельский учитель, Неверов, естественно, вслед за изображением крестьянства, обратился к изображению быта учителя.

В рассказе „Без цветов“ перед нами убогая обстановка, которой встречает „церковно-приходская школа“ начинающего педагога; в „Учителе Стройкине“ — безысходная тяжесть жизни уже опытного и немолодого учителя, кончающего... запоем. В „Детях“ — трагедия семейного учителя; в „Страхе“ — атмосфера подозрительности, в которую легко попадает прославивший „неблагоденственным“ сельский педагог; в „Серых днях“ — бессмысленно-однообразная жизнь учительниц, превращающихся в истеричек... Впрочем, иногда Неверов отмечает и некоторые просветы. Таковы рассказы об энергичных учительницах, из которых одна решила устроить нечто вроде ясель для крестьянских ребят („Дело от безделья“), а другая зажгла „нехитрую лампу“ и внесла культурную струю в жизнь глухой деревушки („Волшебный фонарь“).

Оторвавшись от учительства в 1915 г., Неверов почти не выводил учителей в своих позднейших произведениях, если не считать Петунникова и Марию Кондратьевну в „Гусях-лебедях“. Только в конце жизни он написал очень характерную повесть „Шкрабы“, где изобразил сельских советских учителя и учительницу. Повесть полна бодрого духа и рисует типы новых учителей, которые чуть что не помирают с голода, рассчитывая жить на 4 рубля в месяц, но не унывают, мечтая „выучить кое-что из Карла Маркса“, „познакомиться с материализмом и работать вместе с коммунистами на общую пользу“, празднуют с детьми „седьмое ноября“ и разучивают „Интернационал“. Повесть показывает, как Неверов, даже оторванный от деревенского быта, чутко улавливал ростки новой жизни. Нельзя не упомянуть еще сатирической сказки „Пропавшая школа“, едко и справедливо обличающей то невнимание, в котором пребывал некоторое время наш „третий фронт“.

Эпизодические фигуры представителей духовенства попадают у Неверова в рассказах „Страх“, „Дети“; в рассказе „От неизвестных причин“ — перед нами жизнь сельского „батюшки“, погрязшего в мелочных расчетах, что довело его

жену Зиночку, наивную мечтательницу, до самоубийства. Крепкие фигуры попов-собственников, которым очень мало дела до „православия“, — лишь бы их богатства остались нетронутыми, — выведены в „Гусях-лебедях“. В ряде произведений революционной поры также даются колоритные фигуры „духовных особ“ („Поросенок“, „Земля и небо“, „Что из этого вышло“ и др.). В живой, с успехом шедшей на многих сценах пьесе „Смех и горе“ выведен поп Хорохоренский и „либеральный“ дьякон Светозаров, кончающий „снятием сана“. Любопытен и образ дьячка-„большевика“ в „Гусях-лебедях“, воспроизводящий социальное расслоение, которое наметилось в рядах самого духовенства.

Жизнь Неверова в городе дала ему возможность вывести в некоторых рассказах типы других слоев населения. Попадают у него „советские служащие“ — образы все более сатирические, вроде Тимкина („Кровать“), который был „сочувствующим“ и „стоял на платформе“, поскольку ему удавалось извлекать некоторые выгоды из своего служебного положения, и сразу изменил фронт, когда была объявлена мобилизация, или типичного „советского бюрократа“ — товарища Мухина (рассказ „Портфель“), и некоторые другие. В рассказах „Веселые ребята“ и „Хлеб наш насущный“ Неверов рисует быт провинциальных писателей.

Наконец, есть несколько рассказов, в которых Неверов выводит одиночек-рабочих — таковы „Стишок“, „Изобретатель“, „Случай из жизни“, „Настенька“, „Отучила“ и др.

Эти произведения на некрестьянские темы составляют очень небольшую долю художественной продукции Неверова. Но, будучи крестьянским писателем по темам, по языку, по психологии, Неверов в последние годы своей жизни радостно воспринял идеологию пролетариата. Неверовский подход к деревне был подходом человека, понимающего основы ленинского учения о союзе деревни с городом, о неизбежности для крестьянства единого пути с рабочими, с Советской властью. Об этом Неверов говорил всем своим творчеством последних лет.

В заключение необходимо остановиться на художественном мастерстве Неверова.

Как бы ни был значителен писатель по своим идеям, он, как художник, никогда не войдет в историю литературы, если не будет самостоятельным, оригинальным мастером языка и формы.

Таким мастером художественного слова Неверов был.

Язык Неверова силен, меток, колоритен, оригинален, прост и понятен массам, стиль его отличается особыми чертами, так что его нельзя спутать с другими писателями.

Фраза Неверова — четкая, краткая; он очень любит предложения из двух—трех слов, иногда даже из одного. Он избегает придаточных предложений и длинных периодов. Речь его образна, полна сравнений и других чисто народных стилистических особенностей.

Бестолковая, непонимающая голова в изображении Неверова — „мешок с песком“, сердце — „кувшин, налитый горячей водой“, кипящий самовар — „жеребенок стоялый“, голос Маринки — „словно лента алая“, вечер „ползет кошкой“, горе „растет травой некошеной“. Попадают на каждом шагу характерные для народной речи повторения, параллелизмы, противопоставления, напр.:

Растет трава-крапива — кому нужна. Растет печаль мужицкая — кому нужна.

С тобой случится чего — я помогу. Со мной случится — ты поможешь.

Три слова — три гвоздя. В сердце одно, в голову одно, в руки ноги — одно.

Речь Неверова в лучших его произведениях последней поры, в „Андроне непутевом“, в „Ташкенте — городе хлебом“, — строго ритмична, напоминает собою былинный сказ, напр.:

Под горой три дерева, грозой опаленные. Не шумят листья, не радуют. Нет на деревьях зелени зеленеющей, нет на деревьях солнца играющего. Мрачно стоят три дерева, грозой опаленные...

Построение фразы у Неверова тоже своеобразное. Глагол у него обыкновенно ставится на первое место, определение позади определяемого:

Бьется в руках у Мелехи Анютка... Шумят деревья потревоженные... Стрижет глазами цыганскими тени бесшумные...

Падает слеза незаметная... Зацелует губами голодными  
Анна Поликарповна Гаврилу Петровича...

Любит Неверов употреблять и характерно-народные слова или формы, напр.: маленько, гармонь, делов, дяденька и т. д.

Каждый из этих приемов в отдельности, разумеется, нередко встречается и у других писателей, но совокупность их создает особенный, ни у кого более не встречающийся, чисто-неверовский стиль.

Вероятно, Неверов даже и не знал, как мастера слова работают над своим языком; но благодаря инстинкту художника, благодаря исключительному чутью языка, которое у него было, он в своей работе над текстом обнаружил настойчивость, свойственную подлинным мастерам. Некоторые произведения он переделывал чуть ли не по 50 раз.

В виде иллюстрации приведем несколько примеров его работы над уже напечатанными произведениями. Возьмем рассказ „Последнее средство“. Он был напечатан в „Жизни для Всех“ в 1914 г. Подготавливая издание своих ранних рассказов, Неверов перепечатал текст на машинке, попутно внося некоторые изменения, так что получилась, по сравнению с первоначальным текстом, 2-я редакция. Переписав рассказ, Неверов принялся за основательное его исправление. Получилась 3-я редакция. Сравняя с нею печатный текст посмертного издания, мы видим еще ряд значительных отклонений, что дает уже 4-ю редакцию. Характер всех этих изменений весьма любопытен, и проследить их было бы чрезвычайно полезно начинающим писателям, особенно тем, которые любят писать „сразу набело“ и не считают нужным работать над своим языком.

Сравняя разные редакции, мы прежде всего видим, что Неверов стремится к краткости и беспощадно вычеркивает все лишние слова. Между первой и второй редакциями „Последнего средства“ больших отличий нет, но тенденция к сокращению заметна. Напр.: „У них, слышь, опять дождик был“ — читается в первой редакции. Переписывая, Неверов выпускает вводное слово „слышь“ и пишет просто: „У них опять дождик был“.

Вот ряд параллельных примеров:

1-я ред.

— Ищу! — сказал Василий. — Не знаешь, кто потерял?

Действительно, обмануть бабу оказалось не Васильевого ума дело...

2-я ред.

— Ищу, — сказал Василий.

Но обмануть бабу оказалось не легко...

Третья редакция уже сильно отличается от второй. Сокращение достигнуто очень значительное. Сравним два текста:

2-я ред.

— Неужто не доборонишь? — спросил он, поправляя съехавшую на бок седелку.

Вместо ответа, лошадь разинула рот и трянула хвостом, стараясь отпугнуть присоседившихся мух...

— Плохое дело! — сказал Василий, отстегивая супонь. — Видно, придется ехать домой...

... Войдя на двор и глядя на прижавшуюся к плетню лошадь, Василий опять разок-другой ругнул свою бедность, надоевшую ему до смерти, — но легче от этого не было.

У Арсентьевой избы сидело несколько мужиков на завалинке и, размахивая руками, громко разговаривали...

— Им, гололобым, везет! — тараторил Яков, сидя на корточках с папирской<sup>1</sup> во рту. — У них опять дождик был...

... Но обмануть бабу оказалось не легко. Надоив не более рюмочки, она попробовала молоко на язык, для чего даже понюхала, и, обратившись к Василию, сказала:

— Дураков ищешь, дяденька!

— Каких дураков? — удивился Василий.

3-я ред.

— Неужто не доборонишь?

Вместо ответа, лошадь разинула рот, трянула хвостом...

— Плохое дело! Видно, придется ехать домой...

... На дворе Василий разок-другой ругнул свою бедность, надоевшую до смерти, но легче от этого не было...

... У Арсентьевой избы сидели мужики на завалинке, громко разговаривали...

— Им, гололобым, везет! У них дождик был...

... Обмануть бабу не легко. Надоив не более рюмочки, попробовала молоко на язык, понюхала:

— Дураков ищешь, дяденька!

— Каких дураков?

<sup>1</sup> Слово „папирской“ исправлено на „цыгаркой“; потом вся фраза зачеркнута.

— Эдаких же... как ты...

И, не разговаривая, она потащила за собой все время молчавшего мужа...

— Эдаких... как ты...

Не разговаривая, потащила за собой молчавшего мужа...

Неверов, как видим, вычеркивает все лишнее, сильно сокращает текст, который от исправлений много выигрывает в динамичности и стремительности повествования, становится неизмеримо более живым, так как выкидывается все, замедляющее ход действия, главным образом пояснительные замечания (ремарки) автора. Вычеркиваются почти все причастия и деепричастия и связанные с ними слова, так наз. „сокращенные придаточные предложения“ (по терминологии старых грамматик). Напр., было: „Войдя во двор и глядя на прижавшуюся к плетню лошадь, Василий...“—осталось: „На дворе Василий...“, и т. д.

Но и этими сокращениями Неверов остался не вполне доволен и дал при последней обработке еще более краткую, 4-ю редакцию:

4-я ред.

Вместо ответа, лошадь разинула рот...

— Плохое дело! Видно, придется поехать домой.

На дворе Василий разок - другой ругнул свою бедность...

Обмануть бабу не легко. Надоив не более рюмочки, попробовала молоко на язык, понюхала:

— Дураков ищешь, дяденька!..

3-я ред.

Лошадь разинула рот...

— Плохое дело! — подумал Василий, отстегивая супонь.<sup>1</sup> — Видно, придется поехать домой...

На дворе Василий ругнул свою бедность...

Никогда не обманешь бабу. Надоила она с рюмочку, попробовала на язык, даже понюхала:

— Дураков ищешь, дяденька?..

Изменения не значительные, но весьма характерные: выкинуты лишние слова: „вместо ответа“, „разок-другой“; „обмануть бабу не легко“ заменено более категорическим: „никогда не обманешь бабу“. После фразы „Дураков ищешь, дяденька“, — знак восклицательный заменен вопросительным, что делает ее более иронической и язвительной.

<sup>1</sup> Здесь восстановлено чтение 2-ой ред.

Примеры можно было бы приводить без конца, но полагаем, что и этих более чем достаточно, чтобы видеть, с какими кропотливейшими усилиями создавался простой, выразительный, яркий, образный неверовский язык.

Не удивительно, конечно, что, при такой работе, на протяжении своего почти двадцатилетнего творческого пути Неверов сделал огромные успехи. В ранних его произведениях стиль еще не выработан, мало-индивидуален; отдельные элементы неверовской речи попадают, но разрозненно, случайно. Чем дальше, тем определеннее Неверов идет к своей цели. Уже рассказы 1914/16 г. г. (в первой редакции) значительно отличаются по выдержанности и своеобразию стиля от ранних. В 1919/20 г. г. Неверов делает огромные успехи, вполне — „находит себя“. Венцом мастерства Неверова являются 1922/23 г. г., когда пишутся лучшие его создания: „Ташкент“, „Андрон“, „В садах“, вторая часть „Гусей-лебедей“. Эти произведения навсегда останутся замечательными памятниками литературы революционных лет и выдающимися произведениями литературного искусства.

В первый том включены ранние произведения Неверова дореволюционной поры (1906/16 г. г.), в большинстве случаев в исправленной редакции. Эти рассказы имеют, главным образом, историческую ценность — как бытовые документы из жизни дореволюционной деревни, колоритно рисующие быт крестьянства, учительства и отчасти духовенства. Для характеристики Неверова эти произведения интересны в качестве первых этапов его творчества; разумеется, настоящего Неверова в них еще нет, так что всякий, прочитавший только первый том, не получит о Неверове-художнике должного представления, хотя отдельные рассказы из числа вошедших в этот том стоят все же на довольно высоком художественном уровне.

Н. Н. Фатов

1906





## ГОРЕ ЗАЛИЛИ

**Н**а дворе стояла осень. Небо хмурилось. Из грязноватых тучек, взад и вперед бегающих по небу, то и дело, как слезы из подслеповатых глаз старухи, падали мутные капли дождя.

Возле небольшой мазанки, имевшей вид сплюснутой лепешки, на бревнах сидела кучка голопольских мужиков, человек в шесть, приехавших сюда, в Дубново, богатое село, с избою.

Лица у голопольцев темно-желтые, волосы и бороды не чесаны... Одеты они в какие-то лохмотья, вероятно, когда-то служившие полушубками, кафтанами...

Перед ними на грязной тряпице лежали куски иссиня-черного хлеба и остатки сухой воблы. Голопольцы закусывали, но как-то лениво, неохотно, словно они только что сытно пообедали. Куски хлеба и воблы плохо жевались и капризно вставали в горле.

Мужики жилились, вытягивали шеи и усердно гнули спины.

Под развалившимся навесом понуро стояли заморенные клячи и, печально повесив головы, о чем-то думали... Старый Гнедко, коротко опустив голову, стоял недвижимо.

Напрасно грязнорылая свинья старалась вывести его из меланхолии, роясь у него под ногами,—Гнедко не замечал, или замечал, да не хотел связываться... В другое время, когда он был моложе, он бы здорово съездил ей копытом по морде, а теперь не то... ослаб.

— Кум,—обратился черномазый мужичонко к рядом сидевшему мужику с умным, открытым лицом.— Поди, подсыпь коням-то!

Черномазый умышленно иронически ударил на букву „о“ и лукаво подмигнул в сторону клячонкам; лицо его расплылось в странную улыбку. При виде изморенных лошадок он

сморщился, съежился, словно сверху его кто придавил двадцатипудовой палицей и облил холодной водой: за клячками стояло нечто другое, что особенно и пугало его, это — беднота.

— Пушай пожуют... успеем ища!.. — надтреснутым голосом ответил кум, сердито ломая ребра бывшей у него в руках воле, как бы желая на ней кому-то отомстить.

Кум строго смотрел из-под густо нависших бровей и все время раздраженно стискивал зубы. Он был не в себе: перед отъездом к нему приходил сборщик, напомнил о подушных и пригрозил „клоповкой“. „Клоповка“ была не страшна. Он просто сердился на то, что это такое, что с него „дерут да дерут“.

А лошади, верно, слышали, что речь идет о них, словно сговорились, разом заржали...

Хозяева остались на месте.

— Арбуз, что ли, купить итти? — ни к кому не обращаясь, как бы про себя, сказал дядя Антон, забитый, с пугливым выражением глаз старик, которому было лет за шестьдесят.

Дядя Антон посмотрел на присутствующих, как бы ожидая, что скажут они; затем что-то сообразил, пересчитал мысленно завернутые пятаки, почесал затылок и тяжело крикнул. Желая полакомиться арбузом, он упустил из виду другие потребности: махорку, спички, керосин, смолу, — мало ли их нашлось!..

— Не, лучше пожую хлеба! — решил старик.

— Какая погодка-то! — желая замять разговор, заговорил он. — Наказание одно!..

Черномазый усмехнулся себе в бороду и, как бы передразнивая старика, лениво протянул:

— Аар-буз... Не арбуз бы надо, — живее заговорил он, — а зелененького, и горло бы промочило, и уставшие кости разогнуло.

Мысль черномазого встретила сочувствие голопальцев и как-то мгновенно разгладила угрюмые лица, вызвав на губах нечто, похожее на улыбку. Но тут же явилась другая мысль: „Не разгуляешься на худых-то голенищах“.

Слова черномазого пролетели как бы мимо ушей. Его никто не поддержал.

А выпить хотелось...

Кум, между тем, сходил и подсыпал коням и затем подошел к товарищам, посмотрел на них, посмотрел на небо, и

мысли его так же беспорядочно, как клочки тучек по небу, куда-то бежали далеко-далеко, то цепляясь друг за друга, то разрываясь... На душе у кума было тяжело, а во рту горько и кисло.

— А вот и Микита Степаныч идет! — заметил Иван, работавший мужичонко, до сих пор молча глодавший рыбий хвост. — Вот с него бы не худо было содрать на бутылочку!.. Не даром же мы так старались для него, тащась за двадцать верст в такую-то распутицу.

Голопольцы встрепенулись. У всех явилась одна мысль: „А и правда, не мешает“, но на этот раз никто не произнес ни звука.

Никита Степаныч, хозяин купленной избы, приземистый мужчина, лохматый, с нечесаной бурого цвета бородой. Он был пьян и шел по направлению к голопольцам. Кривляясь и разводя, как оглоблями, длинными руками, он тыкал в воздух указательным пальцем и кого-то в изобилии наделял площадными эпитетами. Голопольцы, как только подошел к ним деревенский воротила, почтительно встали и подобострастно раскланялись, неуклюже мотая головами и выгибаясь всем корпусом, признавая за „Микитой Степанычем“ все данные быть почитаемому.

Никита Степаныч окинул их мутным, пьяным взглядом, самодовольно осклабился, щелкнул языком и ткнул в воздух указательным пальцем.

— Как здоровье, почтенный Микита Степаныч? — заботливо осведомились голопольцы.

— Все ли здоровы?

„Поштенный“ опять ткнул пальцем и что-то пробормотал.

Он любил иногда поломаться.

— Ну, и изба хороша! — исподволь заехал Николай - Карась, ловкий малый на всякие „заезды“ под чужие карманы.

Карась философски покачал головой и счел почему-то нужным опростать нос в полу рваного кафтана.

— Век не сгниет! — деланно восторгаясь, продолжал он. — Смолиста больно, да и попала-та шала! Совсем даром... Не за эту бы цену надо купить ее...

Он замолчал, видимо соображая, за какую бы цену надо было ее купить...

— Нас... трудно... в этом провести... мы это... дело во как знаем! — бормотал пьяный Никита Степаныч. Он развел руками, показывая, как „они“ знают это.

— С... измалетства приучены... к этому самому! — кричал хозяин.

Голопольцы улыбались, то поддакивали, то удивлялись.

— Ну и время! — как бы невзначай проронил черномазый. — Дождь и дождь!.. Дороги совсем испортились... Насилу дотащились... Мученье, а не езда. Сами-то измучились, как собаки,—плаксиво говорил он.

— Надо бы с вашей милости на бутылочку...

— С устатку-то не мешало бы по стаканчику...

Такая речь по душе пришлась голопольцам, и они поддержали черномазого.

— Ежели бы не нужда, разве бы поехали в такой путь! — загалдели они.

Долго ломался Никита Степаныч, чувствуя собственную силу; долго хвалили голопольцы и его, и его избу; долго как-то глупо, виновато улыбались, заискивая перед богачем.

Наконец, кряж расступился, из затасканного, грязного киста посыпались медяки, которые ловко ловили пригоршни черномазого.

— Покорно благодарим!.. За вашу милость, значит, выпьем, — шумели голопольцы.

— Очинно благодарствуем!..

Богатей стоял, ухмылялся и что-то бессвязно бормотал.

— Вы, голяки, беднота! Скажите мне... голяки вы? А!.. Ну!.. Голяки?

— Знамо дело... Не чета вам... Не нам с вами равняться! — раздавались голоса.

— Всех куплю вас!.. Всех... Слышите, всех!.. Продам и выкуплю!.. — хвалился расхोлившийся мужик и, потеряв равновесие, тяжело упал на мокрую землю.

Голопольцы его тотчас подняли и отвели в трактир спать. Подсчитали деньги... Оказалось на целую бутылку.

Карась сбегал в казенку. Лица голопольцев при виде бутылки просияли, хотя они старались все казаться равнодушно-спокойными, желая показать, что это-де нас не удивляет.

Однако, все чувствовали себя хорошо, как будто гору какую свалили с плеч. Уселись полукругом. Черномазого заставили разносить вино.

— Ну и молодчина ты, Григорий! — шутливо замечали сидевшие. — У быка не выпросишь молока, а ты, накось...

Когда пропустили по первой, голопольцы загалдели. Стаканчики развязали сразу языки. Всем захотелось говорить, и у всех разговор был на одну тему, про свою нужду и чужое счастье.

Черномазый обнес еще стаканчиком.

Дядя Антон кашлянул, мотнул головой и пустился в философию.

— Да, поди-ка ты вот! — сбиваясь начал он, — живут это, братцы, на свете, значит, люди, — одни хорошо, а другие плохо; почему это так выходит?..

От непривычки говорить дядя Антон усиленно моргал подслеповатыми глазами и теребил жиденькую бороду.

— Почему это так? Вот ежели взять, к примеру, того же Микиту Степаныча. Живет человек в довольстве, нужды не имеет, пьет, ест хорошо, а ты живешь как?.. Эх!.. — и дядя Антон трагически махнул рукой.

Дядя Антон, обыкновенно робкий, молчаливый, только вздыхавший да охавший, когда ему попадал стаканчик, становился смелым и любил поговорить. Он заводил речь, путался и в конце концов махал рукой и успокаивался.

— У ево, чай, землицы-то побольше, чем у нас всех! — вставил слово до сих пор молчавший Никифор, который с какой-то озлобленностью смотрел из-под рваной шапки, сдвинутой на самый нос. — Вот ему и хорошо! А мы как живем?

— Чего и говорить!.. Каторга, а не жисть... Земли мало, да и та кругом в барской... Прижали нас, как ужа вилами. Нельзя скотину никакую выпустить на волю, сейчас и загонят. Кур, и тех хоть держи на приколе. А загонят — не помилуют, припасай полтину! А где полтинников-то наберешься? Там полтину, здесь полтину.

Все сознавали, что это так. Все это для них было не ново, но они слушали, и чувство горечи все больше и больше заползало в душу голопольцев.

— Работаешь-работаешь лето летненское, а зима придет— кусать нечего. Заплатишь подати, ан, глядишь, остались нагишом. Впереди нужда. Приходится или продавать последнюю овцу, если она есть, или надевать суму и итти по миру...

Такой разговор возбудил и без того подогретые вином чувства. Голопольцы вспомнили, что дома у них остались одни дыры да прорехи, а заплатать их нечем. Мысль о нужде, о завтрашнем дне, о детях, об их плаче, как ножом по сердцу ударила. Веселость на время уступила грусти, тоске. А чем помочь? — Так лучше не думать...

Чем же заглушить горечь жизни?—Водкой. У них не было другого средства. Они знали, что такое „блаженное состояние“ неведения недолговечно, что наутро будет еще хуже, но в данную минуту они жили настоящим, а не будущим.

Человек часто уверяет себя в том, что удовлетвори он в полной мере сейчас свое желание, и оно больше не повторится. Так думали и голопольцы. И теперь они с каким-то особым злым чувством опрокидывали стаканчики, в надежде кого-то этим убить; хоть на миг пожить другою жизнью; на миг не чувствовать проклятого горя, которое, как змея, сосало их сердце.

И голопольцы пили.

Когда бутылка оказалась пустою, это никого не удивило и не огорчило. Руки голопольцев сами собой полезли в карманы и вытащили оттуда желтые пятаки. Карась сбегал и принес новую бутылку.

Появление „непочатой“ тоже не вызвало ни в ком удивления; ее как бы не замечали или считали появление ее законным.

— Вечереет! — проговорил дядя Антон, как бы напоминая, что пора ехать.

Карась угадал его мысль.

— Не замай, пусть немного передохнут лошадки-то!.. Небось, успеем, доедем... — спокойно, с ноткой равнодушия и сожаления к клячам, заметил он.

— А что, братец, слышно, нарезка земли будет? В газетах, слышь, пишут! — заговорил кум. — Только бы скорее!..

Теперь кум смотрел не так сердито. Глаза его глядели грустно, а уголки губ иронически передергивались.

— Скоро, скоро! — ядовито заметил черномазый. — Не успеет стрижена девка косы заплести... Смотри, только нарежут ли? Кабы последнюю не отобрали... Ты слышал, что говорил старшина? — и, не дожидая ответа, продолжал: — А ты, вот что, работай, таскай соху, ковыряй землю, плати подати, а как тебе живется, о том ни гу-гу...

Черномазый опрокинул стаканчик, крикнул и кого-то выругал.

— А что, моя мысль... — предложил дядя Антон, — послать бы бумагу, так, мол, и так, жить нельзя... Земли нет... Бедность...

— Што бумагу! — закричал Карась, — да ты пропадешь пропадом... Тебя затаскают все! Куда уж тут! — тоном безнадежности выкрикивал он. — На што старшина с писарем, и те не изволят говорить с нами. А там, думаешь... Да там ни жарко, ни холодно, что бедствует какой-нибудь Антон Метелкин.

Карась замолчал и скрипнул зубами.

В словах Карася все видели голую правду, и от этого всем стало обидно. Чувство беспомощности и несправности щемило душу. К горлу что-то подкатывалось. Они ясно сознавали весь ужас своего положения, и сознание этого, как тяжелая масса, давило их, и от этого „чудовища“ опять начинали усерднее искать спасения в бутылке. Возбужденные вином, они становились решительнее и смелее...

Теперь голопольцы пили не „с устатку, чтобы кости поразогнуло“, а нарочно, с дикою радостью, как бы над кем-то злорадно потешаясь.

И правда, они потешались и издевались над слабо протестовавшим, сидевшим в них, робким, приниженным человеком.

Они отчаяннее трясли лохматыми головами и свободнее изливали друг другу свои жалобы. Теперь они как будто лучше понимали друг друга, их что-то теснее соединяло между собою; они обнимались, называли друг друга ласкательными именами, кого-то бранили, кому-то посылали свои проклятия.

Чем более убывало из их карманов пятак, тем чаще про-скальзывала мысль о пропитых деньгах, о завтрашнем дне, о



плаче ребят, о ругани жены. Но все это моментально отгонялось; делалось все, чтобы забыть это, и не чувствовать горечи, отравлявшей их искусственное веселье.

Голопольцы, лохматые, растрепанные, с каким-то оловянным блеском глаз, в которых горели и решимость и тайный страх, бродили около лошадей, стоявших с впалыми боками и слезящимися глазами.

Голопольцы пели песню:

Ах ты, доля, моя доля,  
Доля бедняка!  
Тяжела ты, безотрадн,  
Тяжела, горька!..

Голопольцы бранились, смеялись, плакали, обнимались... Смотреть на них было скорее грустно, чем смешно! Черномазый грозил кому-то кулаком и сквозь зубы шипел: „Разо-орву!“

Путаясь, пьяным, заплетающимся языком, он рассказывал Никифору о том, как намеднись у него загнали теленка с барской усадьбы и потребовали полтину.

— А куда я ево дену! — выкрикивал черномазый, — не в кармане же мне его таскать... Выгонишь на свою полосу, ан, рядом барская...

Никифор все это знал, но однакоже слушал со вниманием.

Иван с рябоватым лицом немилосердно набранивал старшину с писарем, называя их плутами, мошенниками за то, что содрали с него лишний рубль.

Кум усиленно сосал цыгарку, которая у него то и дело гасла, жег усы и тоже жаловался на „жисть“.

Карась тянул из горлышка и старался ни о чем не думать... Дома у него было пусто, хоть „шаром покати“, как он сам говорил, и он старался хотя на миг найти забвенье на дне бутылки.

Одна бутылка пустела, ее заменяла другая...

Дядя Антон уже наклевался, наплакался, наговорился сам с собой и ткнулся под бревно, около своей лошади, которую он перед этим гладил по тощей шее, целовал в морду, называл „голубчиком“, „дружком“, обещая накормить дома миссом... И бедный Серко со втянутыми боками печально глядел на спавшего хозяина.

Дяде Антону снился сон,—страшный, нехороший сон! На двор к нему явился волостной старшина, Яков Митрич, и приказал обращаться Серку, единственного поильца и кормильца...

Дядя Антон почувствовал, как у него за спиной забегали мурашки, в глазах запрыгало и помутилось, а самого его словно облили холодной водой...

Заголосили снохи, заплакали ребята...

— Яким Митрич! Последняя... Нужда... видит бог—нужда... Отдам... Пожалейте! — простонал бедный Антон и проснулся...

Проснулся с тяжелой, свинцовой головой, с разбитым телом и не мог сообразить сразу, где он и что с ним...

Вскочив, он бросился к Серку... Лошадь стояла на месте. Нашупав карман, Антон отыскал в нем восемь копеек, и сердце его болезненно сжалось, а в голову словно ударило молотком.

Сознание к нему вернулось. Он стал припоминать вчерашнее. Опять та же мысль, которую он недавно топил на дне бутылки, встала в прежнем виде и еще сильнее резала сознание, напоминая о пропитых шестидесяти копейках.

Дядя Антон холодел, ежился, жмурил глаза и виновато кричал. Пропитые шестьдесят копеек лишали его самостоятельности мысли и приводили в ужас... Он представлял себе бледные, тощие лица домашних, которые распределили уже, куда потратить эти деньги.

Черномазый с Карасем, кум с Никифором и Иван с рябоватым лицом еще не просыпались. Они далеки были от суровой действительности.

Была ночь, темная, сырая осенняя<sup>4</sup> ночь.

Избы села Дубново совершенно потонули во мраке. Эта глухая тьма давила собою дядю Антона и готова, кажется, была поглотить его.

Он наскоро запряг Серка, сел на ролупски, не разбудив товарищей, хлеснул лошадь... Дул холодный ветер и до костей пробирал дядю Антона, свободно шмыгая по прорехам рваного кафтана. Старик оживился и втягивал в тощие плечи маленькую голову. В голове его бродили отрывки невеселых мыслей!..

Думал он купить овчину и перешить на зиму старый тулуп на полушубок, а теперь этот план должен рушиться...

Антону было страшно! Он готов был лечь под колеса... Так безотрадно показалось ему будущее... Так много накопилось у него на душе тоски, которую он не надеялся пережить!..

Серко бежал. Колеса глухо месили грязь. Дул ветер. И слышалось Антону в этом все: и плач, и укоры, и слезы...

Темная ночь готова была раскрыть огромную пасть, чтобы поглотить и Антона, и Серку, и роспуски... Дядя Антон усиленно похлестывал лошадь, желая куда-то убежать, скрыться, стараясь не думать о завтрашнем дне, о пропитых шести гривнах, о скорбных лицах домашних и о плаче голодных ребятишек... Но мысли невольно возвращались к прошлому...

Друзья Антона, голопольцы, встали на рассвете. Во рту у них было скверно, как будто они проглотили по куску мыла. Сердце ныло какой-то болью, словно в него вбили огромный гвоздь.

Голопольцы не говорили и не смотрели друг на друга. Они старались не думать о вчерашнем. Им казалось, что они сделали что-то тяжелое, „не замолимое“. Им становилось страшно, жутко. Постороннее не поглощало их мысли...

Через полчаса они, мрачные и сердитые, похмелялись, сидя за бутылкой, купленной в „складчину“.

Черномазый ерошил волосы. Карась сердито стискивал зубы. Остальные, подперев головы локтями, слегка покачиваясь, о чем-то думали.

Молчание никем не нарушалось.

1907



## АВДОТЬИНА ЖИЗНЬ

**И**ван Залудай, горчайший пьяница по деревне Завязтовке, вторую неделю „крутит“ самым отчаянным образом, пропивая последние гроши и полосы непаханной земли. Одни говорят по деревне, что Иван пьет с горя, с отчаянья, дескать, что ни живи, все счастья не увидишь; иные утверждают, будто с тоски, а кто и просто—озоровать, слышь, захотел... На него, слышь, это часто накатывает. Он дитятко-то хорош... Разное люди говорят; знамо, чужая душа — потемки.

Да, гуляет муж, с горя ли, с радости ли, бог весть, а жена слезы льет. Пришел сегодня Залудай домой зверь-зверем!..

Не глядит ни на кого; сел за пустой, сломанный стол, положил на руки свою кудластую, давно не чесанную голову и задумался...

Присмирели дотоле „ревшие“ ребята; робко прижалась к печке безвольная рабыня-жена, ожидая новой обиды своего повелителя.

Долго сидел молча Иван, передергивая крепкими мускулами; видно, что обдумывал что-то большое, важное, и, наконец, подняв голову, тоном деспота прошипел:— Да-ака двугривенный!

Женщина вздрогнула, ниже опустила голову и по привычке поднесла к глазам засаленный передник.

— Давай! — коротко повторил свое требование Залудай. В голосе слышалось что-то недоброе, решительное. В избе стало еще тише. Ребята испуганно прижались к стене и с детским страхом и явной ненавистью смотрели на злого, недоброго отца. Жена попрежнему стояла молча, только из больших „проплаканных“ глаз ползли и бесшумно таяли в тряпье нерадостные слезы,—слезы о напрасно загубленной, прежде времени опустылевшей жизни,—о разрушенном семейном счастье и о горьком

будущем горемык-детишек. А их пятеро. Тяжелы и невеселы такие думы для материнского сердца! Словно яд жгут они сго...

А молчание жены раздражало Залудая. Ему чудится в нем и насмешка, и невнимание, и притворство. Да и давно уж он замечает, что жена не любит его, тяготится им и только в силу церковной клятвы и бесправного положения покоряется ему. Его мучила ревность, а вечно пьяный рассудок не мог указать ему истинной причины. В конце концов Залудай запутался в подозрениях, потерял истину и стал мстить жене за свою свинскую жизнь, за семейный разлад и за ее нелюбовь, заставляя Авдотью лишний раз плакать и желать скорой смерти.

Не дожидаясь ответа жены, Залудай молча подошел к стоявшему под лавкой сундуку, и не успела женщина оглянуться, как он молча сшиб замок и вытащил в тряпице последние пятаки, сберегаемые про „черный“ день.

— Иван! — умоляюще заговорила вдруг молчавшая жена, — Иван, голубчик мой! Не заставляй ради Христа страдать детей... Не пускай их по миру.

Жена униженно встала перед ним на колени, хватая его руки и нежно заглядывая ему в глаза.

— Милый тятка! — грустно прозвенел голосок восьмилетней Анютки, — хороший наш, не бери деньги... Тятка... — Ребенок заплакал и закрыл лицо ручонками. Дрогнуло сердце Залудая, но не надолго! Прежнее зло взяло его; отшвырнул он жену, нахлобучил ниже шапку и направился к двери. Тогда желтое лицо жены вспыхнуло; гневно сверкнули заплаканные глаза и, как ужаленная, вскочила она с полу.

— Иван! — Авдотья судорожно вцепилась пальцами в полы его кафтана. — Иван! Отдай, не бери... это не твои.

— А-а! не мои... — обернулся Залудай. — Та-ак... — пьяные глаза его зло засветились, а жилы на лбу налились кровью, — так сказывай подлюга, чьи они? — И здоровая рука Ивана перехватила слабое горло жены. — Говори, сказывай, кто тебе носит их, называй своих любовников, а не то сейчас дух вон! — дико кричал озверевший человек. Бедняжка посинела, а от душившей ее руки не могла говорить. Ребятишки вскрикнули и попрятались — кто куда... Маленький Васятка кувыркнулся с лавки, раза два пискнул и замолчал.

Залудай, как сильный над слабым, злорадно тешился над своей жертвой.

— Не скажешь... Так вот тебе, н-на!.. — и большой, заскорузный кулак шиб жену с ног. Муж завил в ее длинные, когда-то красивые волосы свои отекавшие пальцы и стал вымещать свою злобу и горечь на этом несчастном творении.—Ты с полюбовниками таскаешься? У тебя деньги есть? Ты над мужем-то смеешься... Вот тебе, вот, н-на... Удушу, стерва... Сказывай!..

В своем безумстве Залудай не видел, что совершает... Авдотья лежала на грязном полу без чувств. Желтое лицо сделалось синим. Правый глаз распух и закрылся. Из виска сочилась кровь.

— Жену учит,—говорили под окнами любопытные соседи и соседки.—Замаял, подлец, бабенку-то!—сожалели некоторые.

Залудай еще раз плюнул в валявшееся тело, скрипнул зубами и, хлопнув дверь, вышел на улицу.

Перепуганные ребятишки ползали около своей изувеченной, доброй, ласковой мамы, гладили ее по голове, нежно заглядывали в лицо и теребили ее за подол.

— Мама, встань!.. Мамка... Он ушел... Его нет,—звали они ее.

Анютка стояла на коленях и, глядя на черные иконы, горячо шептала:

— Господи, накажи тятку за маму... Убей его, злого... Он страшный... я боюсь.

Глаза ребенка светились верою и большим гневом...

На другой день Залудай ходил мрачнее тучи. Жена лежала в постели и стонала. В душу Ивана начинал заползать большой страх.

После обеда он наскоро запряг бесхвостого, еле живого гнедышку; усаживал на худую, безлубочную тележку укутанную в тряпицы жену, молча садился в передок и спешно гнал в больницу. Упрашивал там доктора пожалеть его и вылечить „бабу“.

— Семья, ваше благородие!—кланялся он,—не оставьте...

Авдотья „выздоровливала“. Через месяц Иван снова



напивался пьян, попрежнему калечил и ломал ребра жене и... попрежнему спешно гнал в больницу... „лечить бабу“...

И живет Авдотья, и богу и добрым людям жалуясь на` свою тяжкую, обидную женскую долю... Много выплакала она, бедная, слез, много горя положила на душу!..

Обычная история,—не правда ли?

1909



## МУЗЫКА

### 1

**Б**арская усадьба стоит на горе. Низенький флигель прячется в корявых березах. Позади в косом направлении тянутся постройки: хлебные амбары, скотница, теплый сарай для дойных коров. По бугру колосятся ржаные поля, а за ними черной бороздой режется высокий сосновый бор.

Под горой, у запруды с десятком полузасохших осокорей стоит мельница: почерневшая крыша, мучные стены из березовых бревен. С мельницы пахнет ржаной мукой, дегтем телег. Торопливо бежит сизая запрудная вода в поднятые шлюзы, испуганно бьется по дереву, радуясь свободе. Ворочает синие колеса, стучит рабочими камнями, перетирается в белую пену. Бессильная, уходит на реку по канаве.

В летние дни на берегу под осокорями с утра до ночи купаются жирные утки с желтыми выводками, полощутся носами, ныряют, растягивают острые крылья, как маленькие промытые паруса, выходят на песок, сзывая утят, безмятежно спят по несколько часов. Над мельницей кружат серотелые голуби с красными лапками, похожими на сафьяновые сапожки. Плавают над землей, пьют воду с берега, залетают на мельницу, из ковшей мельничных выклеивают зерна.

Белый мельник, старый Осипыч, с ногами сидит на подтянутом дикаре, с острым ковальником в руке. Жадно хватает острый ковальник твердое, каменное тело, визжит, подпрыгивает. Огромным телом висит побежденный дикарь, поднятый на железные крючья. Стонет, плачет огненными слезами, а белый мельник, сидя на нем, поет веселую песню.

Из усадьбы с горы приходит молодая барышня Клавденька. Клавденьке семнадцать лет. Она тоненькая, синеглазая, похожа

на маленькую девочку, не по годам серьезную. Смотрит задумчиво всей глубиной синих глаз. Приходит Клавденька с книжкой и непременно ведет за собой любимицу Мурку, волосатую собачонку.

Мурка обнюхивает землю, ловит серых, желтоголовых мух, глупых тонконогих водяных жучков и с удовольствием тут же глотает. Долго смотрит в воду, где в глубине прозрачной висят пушистые облака, думает: прыгнуть или не надо? Решив, что не надо, пугает под осоком заснувших уток. Утки захлебываются, от обиды шипят беззубыми ртами, головешками падают в воду.

Мурка, довольная легкой победой, ложится у бережка, морду кладет на передние лапы.

Клавденька молча становится у приподнятого шлюза, молча смотрит на убегающую воду, слушает: поет белый мельник, высекает искры острый наковальник, мученически-сильные напряженно тукают рабочие камни, натирая серую ржаную муку. Медленно плещут колеса, покрытые пеной. Вдали по берегу прыгают босоногие ребята, вытаскивая раков из нерешек. Скидая посконные рубахи, они долго смотрят на коричневое тело, выжженное ветрами, медленно подходят к заводу и, падая вниз головой, пропадают в воде.

Пастух Семка в луговых кочках укладывает тощую скотину. Овцы, поводя носом, лениво идут вразброд, падают вповалку. Коровы, перетирая желтые выточенные зубы, засыпают стоя, неподвижно застывшие. Над кочками висит вздрагивающий воздух, полный зноя и духоты. Пастух Семка расстилает кафтан и тоже ложится вверх лицом, вынимая из мешка коровий рог с прудовыми тростями.

Клавденька слушает.

Наверное, ничего не болит у пастуха, и не боится он ни грязи, ни холодных дождей, ни сухих полевых ветров. Лежит на кочках, смотрит на солнышко, играет свои песни. И грусть ему падает на сердце так же просто, как вечерние тени на землю. Вот и мельник... Просто, спокойно точит дикарь, сидящая с голубями. Клавденька была еще маленькой, боялась черной курицы, а мельник все так же точил дикари, подправляя шестеренки, лазал в колеса, пачкался смолой и пел. По ночам

все спят: и в селе, и в усадьбе, и сама Клавденька, и Клавденькина мать, и тетя Аня, старушка пятидесяти лет, и управляющий Михал Михалыч. Слышно сквозь сон, как тукают рабочие камни, выбивается вода по шлюзам.

— Удивительная жизнь! — думает Клавденька.

Завидно ей, что пастух Семка такой веселый, а белый мельник такой спокойный. Сама она слабенькая белоручка, барская дочь, ничего не умеет. Если оторвать крошечный осколок от этой жизни, дать ей — Клавденька упадет под ним, раздавленная тяжестью. Она много читает, думает. По ночам тоскует, мечется на подушках, задыхается, плачет от ужаса, который черным цветком зацветает в сердце. Кто-то темный, уродливый торопливо плетет мягкую шелковую нить, захлестывает горло...

Подходит Мурка, ложится вверх брюхом, поднимая четыре короткие ноги. Барышня не замечает. Мурка обиженно встряхивает спиной и тоже начинает смотреть в воду.

В поле кружится телега. Сбоку, рядом с телегой, бежит серый жеребенок. Над телегой вьется мочальный кнутишка, хлопает лошадь по узкому заду. С горы на реку съезжает работник Калымка. Наливая бочку, стоит он на колесе, гнет крепкую татарскую спину, напрягая мускулистые голые руки. Красная пропаренная рубашка дуется парусом.

Выходит белый мельник.

Клавденька поднимает голову, закрывая глаза книжкой.

— Здравствуйте, Клавдя Николавна! Мурка сказала, что вы пришли.

Мельник любит молодую барышню.

Еще когда Клавденька была маленькой, он ловил ей пескарей, раков, плел тростяные корзиночки. Брал в лодку с собой, увозил в камыши, где скрывались чирки и белоперые мартышки.

Стрелял дробью, на лету убивал чирков. Страшно было Клавденьке, но и весело. Потом ехали за купавками, вынимали нерешки, видели живую рыбу, видели, как она, вытягиваясь, умирает на песках, широко разевая рот, сонно хлопала хвостиком. Жалко было и чирков убитых, и пойманных карасей, сложенных в лодке. Лодка тонула в воде, небо казалось черным, и

Клавденька, боязливо прижимаясь к мельнику, целовала ему мучную бороду, смотрела в глаза... А камыши, где проезжали, как поднятые тени умерших, длинными зелеными руками хватали лодку, задерживали.

И все это прошло.

Теперь Клавденька большая, читает большие книги и думает тоже о большом. Мельник зовет ее Клавдей Николавной, стыдится своей пыли, своих рабочих рук. На зиму кучер Степан увезет Клавденьку в город, где она будет учиться, готовиться к светлой, хорошей жизни, а мельник останется на запруде. Огромный молот расколется жизнь на две половинки, и все пойдут, каждый в свою сторону — белый мельник из бочаровских мужиков и Клавденька, дочь покойного помещика. Удивленно станут смотреть друг на друга, как два посадка из разных теплиц.

— Уток сколько нынче в камышах, Клавдя Николавна!

— Много?

— Страсть! Выводков руками бери. А лодчонка у меня с двумя веслами, рулевая, не слышать, как и воду режет. Славная лодчонка!

Мельник ласково смотрит на Клавденьку, смущенно кашляет через плечо.

— Хорошо у вас, Осипыч! — улыбается Клавденька. — И камни стучат, и вода плещет, как-нибудь я непременно схожу вниз, посмотрю на колеса...

— Что ж, полюбопытствуйте!

— Я, Осипыч, не только из любопытства, я люблю все это...

Мельник раскрывает рот, одобрительно кивая головой.

Мурка слушает обоими ушами.

— А помните, Клавдя Николавна, черный омут? Любимое место ваше было. Карасищи какие в нем водятся! Я часто езжу туда на сидку за чирками. Хорошо!

— Вы думаете, Осипыч, я все забыла? Конечно, помню.

— А купавок сколько там! Господи ты мой боже, сколько купавок! В первый год так...

Молчат.

— Трудно быть мельником, Осипыч?

— Ничего, привык... Пылит только немножко, скоро слепой буду от муки...

— А я очень люблю ее, душистая она...

Клавденька краснеет ушами:

— Что за глупость сказала! Осипыч непременно подумает: „Господская дочь, ничего ты не знаешь о ржаной муке. Где тебе знать!“

Осипыч встает спиной к мельнице.

— У вас я видел духи есть такие, не знаю только, как называются они...

— Ландыши?

— Может, и ландыши. Пахнет от них хорошо. А у нас здесь свои духи — мука ржаная. Хе!

Клавденька сбоку смотрит на мельника.

— Он, наверно, думает про себя: „Вот тебе легко, капризница: я смелю, ты съешь. Мельком узнаешь из книжки, как добывается хлеб, и забудешь“.

— Вы сердитесь на меня, Осипыч?

— Что вы, матушка, Клавдя Николавна?.. Что вы? За что обижать старика?

— Конечно, сердитесь, разве я не знаю! От скуки, мол, говоришь ты, от нечего делать. А я очень люблю вашу мужицкую жизнь и работу люблю. Я бы и сейчас стала работать: прясть, ткать, убирать скотину, молотить на гумне, но я не умею, а мамочка несговорная—боится за меня...

Мельник виновато тискает в кулаке белую бороду, левой рукой машет на Мурку, растроганно смотрит на Клавденьку с толстой книжкой, на мельничную запруду. Хочется ему сказать старое знакомое слово, и вспоминает он подстреленных чирков, одновесельную лодку, на которой ездили в камыши. Клавденька, улыбаясь синими глазами, раскрывает свою тайну:

— Когда буду жить сама по себе, стану учиться жать, сушить сено, прясть нитки. Обязательно!

Калымка выезжает с реки. Чумазый, с порезанными ногами, крупно вышагивая позади, поет длинную татарскую песню. Горячо палит солнышко бритую голову, бронзовыми лопухами торчат уши. Клавденька смотрит на Калымку, поднимающегося в гору, на усадьбу с низеньким флигельком за березами.



Представляет, как тетя Аня сидит в гостиной, постукивая вязальными спицами, засыпает над чулком, который вяжет пятый год. А в спальней с закрытыми окнами, на высокой кровати, лежит мать после обеда, смотрит в потолок и думает: отчего это мухи всегда жужжат и кусают так больно? Мать не решит одна такого вопроса, позовет тетю Аню.

Клавденьке становится стыдно за себя, за мать, за тетю Аню и за маленький уютный флигелек на горе. Закрывается книжкой.

## 2

По вечерам в усадьбе играют на пьянино. Клавденька зажигает две свечи, садится на мягкий стул с высокой спинкой, щурясь закидывает голову назад. Мечтательно кладет тонкие пальцы на клавиши. Они у нее белые, и кожа на них розовая, прозрачная. Легонько ударяет по клавишам прозрачными пальцами.

На реке у заводов тревожно шепчутся косматые камыши, кольцами набегают вода почерневшая.

Клавденька грустит, вспоминая маленьких кукол, красные лоскутки, лесные дорожки. Видит себя крошечной, восьмилетней, в белом платье. Тогда, по вечерам, на коленях у старой няни слушала она старые сказки про царей, царевичей, про серых волков с золотыми яблоками. Под длинный сказ и засыпала с улыбкой. Просыпалась поутру в светлой комнате с окнами на реку. Долго шалила под одеялом, целовала солнечные пятна. Не знала, что от солнца выгорают поля и тяжелый труд мужиков. Нарочно плакала, жаловалась на залетевшую муху, которая собиралась укусить ее в самую щеку. Приходила няня. Большим крестом сложенных пальцев благословляла кровать, брала полотенце и долго хлестала по стенам, выгоняя мух, которых не было в светлой комнате. Клавденьке становилось весело. Целовала она няню в добрые присохшие губы, шла умываться. Няня рядила ее в белое платье, вела в сад, а в саду ужасно много сирени, черемухи, молодых красивых елочек, и из каждого уголка под упавшими листьями пахнет грибами.

Няня садилась под березку, похожая на высушенный гриб, а Клавденька нарядной бабочкой кружилась по грядкам,

внимательно смотрела, как садовник Вовчук брызгал из голубой лейки, срезывал сухой малинник, выкидывал его на дорогу, где ездили на телегах.

Клавденьке хотелось пошалить, поиграть с Вовчуком. Прятала она голубую лейку тихонько, сама садилась за дерево. Вовчук смешно кружился на одном месте, оттопыривал щетину небритых усов, разводил руками.

— Щоб мне пусто! А ну где!

И теперь, играя по вечерам на пьянино, видела Клавденька Вовчука, который давно умер. Видела сирень, черемуху, старую няню, беззубую собаку Налимку с перекушенным ухом. У Клавденьки Налимка обнюхивал платье, лизал руки, приятельски колотил шершавым хвостом по губам. Клавденька очень жалела глупого Налимку. Приносила ему сладких сухарей, гусиных лап, сахару. Садилась рядом, брала за голову, гладила по носу, клала сахар в рот, и глупый Налимка благодарно слезился, прижимаясь к маленькой Клавденьке.

Однажды управляющий Михал Михалыч вздумал сделать Налимку очень злым, чтобы кусался. Привязал цепью за шею, поставил караулить амбары. Две ночи был Налимка сторожем, невесело постукивая железом. А когда узнала Клавденька, сняла с Налимкиной шеи железную цепь, села в конуру с ним, принесла угощения: молока в чашке, белого хлеба и кусок пирога с изюмом.

Потом беззубого Налимку кучер Владимир, такой же беззубый, свез на кучи. Клавденька тихонько от мамочки плакала в саду под рябиной и долго молилась богу за мертвого не красивого друга.

Вспомнилось и это.

Теперь в саду меньше черемухи, а старая береза с подрубленным корнем медленно присыхает сверху. И няни давно нет, и кучера Владимира, который курил глиняную трубочку с вырезанным петушком. В праздники он запрягал жирного ленивого водовоза, не торопясь возил Клавденьку в церковь. В церкви пахло ладаном, дублеными шубами, новыми красными платками.

Никого нет.

И сама Клавденька не прежняя: учится в городе, носит

длинную косу, серое платье, долго не спит в летние ночи. Слышит, как шумят колеса на мельнице, стекает вода по шлюзам. В камышах крикают утки, взвиваются чирки, квакают лягушки. Каждая былинка, каждый шорох за стеной, тоненький крик птицы и чуть слышный всплеск воды раскрывает минувшее.

Душно Клавденьке.

Старые стены флигеля отнимают воздух.

— Кто-нибудь скоро, вот сейчас, провалит потолок, посыплет землей и завалит ее, словно в могиле. Встанет она с постели в тоненькой кружевной сорочке, и сама тоненькая, с голыми розовеющими плечами садится к окну, голову кладет на руки.

Ночной сторож Парфен у хлебных амбаров оглушительно бьет батоном в стену.

Клавденька думает о мужике Парфене.

Ходит он вдоль амбаров, просматривает замки на дверях, угрюмо ворочает скулами, надвигая шапку на глаза, и непременно бранит управляющего Михал Михальча, его жену, детишек, конторщика Оську, старую барыню, Клавденьку, тетю Аню и всех господ, которых знает и не знает. Бранит тихонько, в нос, не раскрывая рта, чтобы не подслушали и не передали Михал Михальчу, старой барыне, неизвестным господам: тогда его, Парфена, ночного сторожа, прогонят со двора, как чумную забежавшую собаку, которая собирается укусить.

Клавденька поднимает голову, хочет что-то сделать, но, обессиленная, отходит от окна, ложится на кровать. Считает, сколько раз Парфен ударит батоном, видит театр, электричество, шумную городскую жизнь, похожую на сказку. А Парфен, ночной сторож, черным призраком стоит у черных амбаров, рвет тонкие светлые нити...

### 3

Проходило лето. Сирень в саду стояла голая, по утрам зябла от сырости. Камыши на реке состарились, потемнели, низко припали к воде. Улетели утки, увели с собой целое стадо молодежи. Ближние поля с корнями снятых хлебов начали

загнивать, чернеть. Ночи легли мутные, без звезд. Целыми днями шел дождь без грома и молнии. Перьями кружились дубовые листья в лесу, прятали летнюю дорогу с колеями да выбоинами. В ближнем бору слетали сосновые шишки, острые иглы. Только мельница под горой попрежнему стучала рабочими камнями, натирая ржаную муку, да сторож Парфен похаживал около хлебных амбаров, постукивая батоном. Он останется на зиму здесь. Будет хлопать рукавицами, которые купят ему за тридцать копеек, щелкать зубами от холода и молча, не раскрывая рта, бранить Михал Михалыча, его жену, детишек, конторщика Оську, Клавденькину мать, Клавденьку, тетю Аню и всех господ, которых знает и не знает.

Завтра Клавденька уедет в город, в гимназию, до самого рождества. Посадят ее в тарантас с огромными крыльями над колесами, ноги завернут в одеяло. Тепло, но так захочется мамочке. Тетя Аня поцелует Клавденьку два раза: сначала в дому, и еще, когда сядет она в тарантас. Мамочка накажет кучеру Степану, чтобы потише спускался с горы. Степан натянет вожжи, легонько ударит пристяжную, весело крикнет на всю усадьбу: „А-эй, голубчики!“ Лошади дружно вынесут тарантас за ворота, Клавденька кивнет старой усадьбе, белой мельнице с белым мельником и хлебным амбаром, где по ночам ходит сторож Парфен. Колокольчики запляшут, захлебнутся, бросят назад радостный встревоженный звон, и легкая пыль маленьким облачком грустно поплывет над умокшей дорогой.

В городе к Клавденьке придут две Кати: Катя большая и Катя поменьше. Катя большая крепко поцелует в губы и станет рассказывать, какую она интересную книгу прочитала, а Катя поменьше расскажет о том, как рвала цветы, собирала землянику в лесу. Настоящую лесную землянику!

Клавденька ходила грустная, подолгу смотрела на мельницу у запруды, прощалась с малинником, кланялась речке, тоскливо думала о мельнике, о стороже Парфене. Была у Михал Михалыча, ела пышки на гусином сале, пила чай с земляничным вареньем и старалась сказать ему ласковое, теплое, чтобы и сам он стал ласковым, почувствовал хоть капельку человеческого горя.

Вечером в последний раз играла на пьянино.

Тетя Аня, шелкая спицами, вязала чулки. Она всегда вяжет то чулки, то салфеточки, белые и голубые — вот уже двенадцать лет, как поселилась в усадьбе. Мать, просматривая отчеты по экономии, клала их в сторону, долго смотрела в окно, ходила крупными, мужскими шагами. Вспоминала город, прошедшую молодость. Видела в мыслях потревоженных знакомого немца, про которого говорила, что он очень умный, слышала чужой смех, чужую радость, звонкие песни. Опять возвращалась к подсчетам, тоскливо закрывала глаза. Клавденька нарочно выбрала грустную мелодию. Ей хотелось, чтобы услышали белый мельник со сторожем Парфеном и поняли, что Клавденька для них играет в последний раз.

Тетя Аня старалась спрятать в глазах у себя тайное, никому не известное, но видно было, что старушка расстроена.

Мать подошла к Клавденьке, нежно поцеловала в русую голову.

— Не играй такие вещи, моя девочка, рано еще! Посмотри, что ты сделала с тетей Аней!

Тетя Аня сидела скорбная, с растерянными по щекам слезинками. Черный клубочек выпал из рук, далеко по полу протянулась тоненькая ниточка. Посмотрела растроганная старушка на пьянино, легонько вздохнула:

— Я когда-то слышала эту музыку, только не помню когда...

Старая барыня сказала:

— Когда тебе было семнадцать лет...

В саду стоял сторож Парфен с батогом в руке, смотрел на господский флигель, видел свечи, зажженные на пьянино, слышал музыку — злую, насмешливую... Свечи горят, как два огромные солнца. Потопили они в себе всю усадьбу: и амбары, и скотный двор, и контору, и флигель с пятью окнами на реку. Стоит сторож Парфен, пронизанный светом, сам черный, будто дерево, обожженное молнией, и точно в зеркале видит свою черноту, грязные вонючие руки. В первый раз увидел себя — от широких лаптей на вывороченных ногах до последнего волоса. Увидел заплеванную, шшивую наготу, пересохшие мозоли, грязью замазанные раны. Ах, как больно Парфену!

Словно молотком ударили ему по вытянутой шее. Вытопилась в сердце у него глухая печаль, разгорелась звериная злоба. Подняла она Парфена на огромных крыльях, понесла ураганом, сделала грозным и сильным...

Другая музыка тешила разгневанное сердце, резала кожу, поднимала выше, несла вперед. В щепки размечет Парфен барскую жизнь, кровью вымоет землю. Вон старая барыня слушает маленькую, ничтожную песню, а вон молодая играет, поет... Кошкой крадется Парфен вдоль стены, чиркает спичку. Синий огонек любовно целует сосновую стену, бежит по соломке, положенной в уголок, приветливо мигает в траву. Лезет вверх по стене, скатывается, рассыпается, опять дыбится вверх, красным дождем брызжет под крышей.

Парфен торжествует.

Гремит вверху величественная, страшная музыка, поднимает, несет... Поют пылающие стены, вздыбленное железо на крыше, вольный ветер, поет багровая огненная ночь. Из-под горы бежит белый мельник с острым наковальником в руке и, как похоронный колокол, громко кричит в пурпуровой темноте:

— Го-ри-и-им! Го-ри-и-им!..



1910





## СЕРЫЕ ДНИ

1

**В** четыре часа становится темно. В восемь — приходит ночь. Мягко скользят крылатые тени, бесшумно качаются в тишине полей. Мертвым телом лежит земля под сухим поцелуем снегов.

Валентина присаживается к столу, смотрит в окно украдкой, тихонько вздыхает.

— Опять ночь.

Берет синий карандаш, плечи прячет в пуховой платок и сидит, уронив голову, кроткая, послушная. На губах тонкая, чуть видная улыбка. Возле глаз — две-три припухших морщинки, а по щекам рассыпаны синие жилки и острые пятна румянца. Синие жилки узорчато зарисовали левую щеку, и видно, как бьется в них кровь.

Валентина — учительница из Степановского прихода. Ей двадцать пять лет. Посмотреть пристальнее — назовешь старухой. Спина согнута, плечи заострены, походка вдумчивая, неуверенно-тихая. Шаги мелкие, осторожные. Глаза осели, уши на дно, смотрят устало, неохотно, безнадежно-выгорающие. Лицо затянуто печалью.

Восемь лет в Степановском приходе и — старуха.

Голос глухой, обрывчатый, улыбка не прежняя. Глаза начали меркнуть, а восемь лет назад они были лучистые, и смешинки дрожали серебром.

Прежней Валечки нет.

Умерла.

Тоненькой свечкой растопилась в Степановском приходе.

По утрам она долго стоит перед зеркалом, прищуривая глаза, и не слышит, как у порога рассказывает сторож из школы:

— Лентина Михайловна, ребятишки домой бегут. Девять часов. Будете учить-то?

— Буду, буду... Учить буду, сейчас...

А кто-то упирается в плечо и насмешливо шепчет, прижимаясь к волосам:

— Старуха.

Смеется Валентина редко. С восьми часов утра работает в школе, учит семьдесят человек. Сердится, обижается, украдкой вытирает глаза. У нее часто кружится голова, от длинного тяжелого дня начинает тошнить. Сердце наливается желчью, раздражением, а во рту становится сухо и едко. С занятий приходит слабая, замученная, покачивается на ногах, точно опьяненная, сжимает голову.

— Ой, как я устала.

Ляжет в кровать и не может уснуть. Закроет глаза, а они раскрываются, испуганно смотрят в черноватую стену, словно уродливый призрак на ней.

Вон сучок.

Ах, какой маленький сучок, какой красный. Настоящий пупырь на угреватой щеке. Вон другой, третий, а вон еще и еще... Много, больше десятка и все одинаковые. Какие смешные сучки. А стена черная, и узорчатая паутина на ней, в паутине — околешшая муха с синим брюшком. А это что? Погоди. Что это такое?

— Тук-тук. Тук-тук.

Это под ситцевой кофточкой.

Сердце мечется.

Валентина прячется в одеяло, щекой прижимается к подушке, но одеяло жжет, горячит, камнем давит плечи. Опять поднимает голову она, пристально смотрит воспаленными глазами, точно потерянная среди незнакомого леса, без дорог и тропинок — ничего не видеть. Только темные точки прыгают и крутятся, как черные птички, да скрещиваются острые полоски от лампочного света. На столе — туалетное зеркало в малиновой обкладке, а в зеркале — согнутая фигурка, с русой головой и с больными глубоко ушедшими глазами, и угол кровати.

— Это я! — думает Валентина. — Разве уснешь теперь?

Она поправляет волосы, медленно сходит с кровати, садится

у окна. Смотрит внимательно, ищет, разглядывает близкого и родного, чтобы подошел. Улица — узкая, перепачканная, и положены по ней бугроватые снега, синие, точно больные. По снегам идет баба, толстая, распухшая беременностью, и кажется, что двигается теплая отсыревшая куча. Вон другая бабенка, бойкая, вертлявая, стоит на дороге, по-сорочьи стучит языком, а слова падают крупным горохом. Еще подальше — Сивоносый Базяк, прекрасный работник и прекрасный пьяница, озорник по всему Степановскому приходу из трех деревень.

Базяк пьяный.

Он плывет, раскорячив ноги, и целуется с бугроватыми снегами.

Мокрая борода у него на боку, голова без шапки, а лицо помороженное. Вот он садится на дорогу, руки растопыривает и хочет уснуть. Подходит Базякова жена; говорит ласковое, теплое, а сама плачет. Базяк ловит ее за плечо, по-смешному целует в губы, потом зверски бьет кулаком по затылку, а сам уходит по улице и поет песню о счастье, которого нет.

Базяк — тоже живой человек. У него свое горе. Смешной он немного, грубый, а ведь песня у него славная, душевная, только тяжелая и больно хлещет по ушам, точно ремнями.

Валентина ходит по комнате обиженная и растревоженная. Подойдет к другому окну, посидит и опять отойдет. Раскроет книгу, пробежит по строчкам, а через минуту — снова у окна, а потом снова за книгой. Зашумят, задвигаются свежие листы, точно поднятые спящие птицы, в тесный круг рассядутся ушедшие из жизни, повитые скорбью и страданием...

Тяжело.

Наденет Валентина шубу из белого меха, приколет черную шапочку и уйдет погулять на Васильковку.

Гуляет недолго.

Скучно да и жутко кружиться по снегам блуждающей птицей. Воздух наливается сумеречной темнотой; позади и впереди тянутся, толкаются тени, а кругом слабые шорохи, жалобные крики снежинок.

Вернется обратно.

Зажжет металлическую лампочку с чистеньким абажуром голубого стекла, присядет к столу и начнет забывчиво обрывать

кисточки у пухового платка на плечах. Достанет тетради, синий карандаш и украдкой вздохнет, как будто спокойно.

Опять — ночь.

К вискам подольет кровь, в глазах потемнеет, а Валентина сидит, опрокинувшись над работой. Бросит карандаш, отодвинет тетради, а сама охнет.

— Ох, как устала! Как болит грудь. Неужели уж одиннадцать. Да, одиннадцать. Черная стрелка на часах показывает — она знает. Скоро будет двенадцать. Еще раз семь обернется большая-то по белому кругу — там и утро. Итти на работу. С восьми и до трех с половиной. Потом в комнате до двенадцати ночи. И снова до трех с половиной... И опять до двенадцати ночи...

Ровненько и без скачков, словно в новеньком аппарате, не попорченном еще мухами и пылью.

Валентина ходит из угла в угол, мягко прижимает половицы и слушает, как шумит в ушах и колет булавками.

В комнате тихо. Тепло. Немного душно.

Три окна на улицу прикрыты коленкором. Под коленкором сухобокая герань с подсохшими листьями. На сундуке голубоглазая кошка, в ленивой растяжке, засыпающе хрускает носом. Звуки падают сухие, проржавленные и неприятно шуршат по ушам.

В печи догорают березовые поленья. Красными бабочками сплетаются искры, тянутся по кирпичу красивой цепочкой. Вылетают наружу, прыгают, смеются, танцуют, только не говорят. А то бы живые.

Вспыхнет, разгорится пламя, разовьется в широкую ленту, поцелует, приласкает и мягко обовьет черноватые стены.

Валентина всегда топит печь поздно ночью и любит смотреть, как пляшут искры, спрыгивая с кирпичей. Она берет стул, присаживается, а ноги в башмачках протягивает к огню.

— Погреться, что ли, посидеть...

Плечи у Валентины вздрагивают, подымаются, и все тело покачивается, как тростинка над прудом. Голос неприятный, стукающий, точно говорит другой, чем-то раздавленный.

За стеной бултыхается ставень и стучит в раму, как голодный зуб. С далекого конца Васильковки, словно из ущелья

какого, ползет, выбивается душная песня Базяка. Камешками падает сверху — и прямо в голову. Мешает думать, не дает припомнить что-то веселое и светлое...

Напрасно болит голова.

Обманчиво горят бледные щеки.

Не было ни веселого, ни светлого. Вот это — утренний сон и волнение крови. Светлое впереди, да и будет ли еще, а позади только двадцать пять лет, как двадцать пять тяжелых камней, молча легли один на другой без крика и без злого упрека. И лежат могильной пирамидой, а в них медленно гниет и доживает вырванный кусок жизни.

Вот твое детство.

Грязная изба. Пьяный отец. Больная мать... Проклятая нужда и постоянная скорбь замученных глаз.

Потом маленькое чудо. Хорошенькая сказка.

Ты попала в учительскую школу.

Высокий дом под жестью. Крепкие стены — по-тюремному. Клочок неба из узеньких окон, искорка зимнего солнца.

Чудные ночи. Сладкие слезы... Тихие надежды.

Тебе 16 лет.

В заключение -- Васильковка, в которой сидишь.

Еще что? Еще нет ничего.

Все.

А время идет... идет... идет...

Кажется, тихо; а если бежать, не догонишь. Вот опять ночь. Позади утро. Холодное, скучное, с мутным горизонтом. А там опять ночь. Эта же тишина. Пощелкивание угольков в печи. Шорох половиц и Базякова песня. Гм... И снова работа. Тошнота... головокружение. А время — 25 лет...

Да, Валентина, двадцать пять.

Потом будет двадцать шесть, двадцать семь и так по порядку, пока не перестанет двигаться последняя кровинка. Глаза полиняют, омертвеют, а под ними рубцами лягут сухие морщины, кожа на щеках повиснет мешочками. Высохнет улыбка, а рот сделается некрасивым, угловатым: это придет старость твоя.

Белизной покроет русые волосы, и будут они как из снежинок. „Тук-тук... тук-тук!“ стучит под ситцевой кофточкой.

Глупое, глупое сердце. Замолчи, пожалуйста. День и ночь все бьешь ты по одному месту... Бо-ольно.

Валентина сидит около печки, а из глаз падают маленькие слезки и кажутся от огня кровавыми.

А часовой язык торопится, покачивается и кричит в уши уверенно: „Так-так... Так-так-так“...

Стучит медный язык и как будто шутит, как будто заигрывает. Бегают стрелки, кружатся по белому кругу, важно ворочают черные носики, а минуточки летят, минуточки падают и рассыпаются. Как листья падают с дерева осенью, когда поднимается ветер. Покачнется верхушка, дрогнут упругие сучья — и листочек поплывет вниз, тихонько ляжет на землю и тихонько пропадет в земле.

Был листочек — и нет.

Одним меньше.

Был — и не стало.

Высоко висел на ветке, тянулся к солнышку, мучился в темное ненастье, а теперь свернулся в трубочку и лежит у корней маленьким незарытым мертвецом.

Просто.

А какой ужас в этой простоте.

Не успеешь посмотреть на часовой кружочек, не успеешь подумать и погадать, — а уж язык стукнул, ударило по ушам противное „так“ — и минуточки нет.

Была и сорвалась листочком. Улетела воробьем.

За ней бежит другая, коротенькая, схожая с первой; третья, четвертая, пятая... И тоже не вернутся.

Раскачается язык, тикнет по старому месту, вырвет и бросит назад...

... Были — и нет.

И не жалко их. И памяти они не оставили. И не больно, не досадно, что сорвались и рассыпались, — а смотреть грустно. И глаза тоскуют. И сердце чаще стучит в кость молоточком. Тонкой паутиной ложится печаль на лицо, все холоднее улыбка. Все мучительнее надрывается грудь. Заплакать бы, как в детстве о разбитой кукле.

Стройно и натянуто идут и проходят дни, один за другим, длинной цепью.

Как солдаты.

Круглые, угловатые, одинаковые, точно подбритые: с тяжелой усталостью, с тупым раздражением.

Ни одной улыбки.

Только сердце тукает дятлом, да башмачки поют и плачут, когда Валентина ходит по комнате ночью.

## 2

В субботу приехала Катрик, соседка-учительница, за восемь верст, из Маюровка.

Катрик — молоденькая.

Ростом невысокая, стройная, хрупкая, как водяная купавка. Глаза синие, а выражение детское: ясное, правдивое, точно стоит на молитве. Иногда они и вспыхивают, дымятся как потушенные свечи. В такие минуты Катрик плачет долго и настойчиво, будто дразнит кого, а себя — потешает. После слез долго смеется, поет песни, — а потом опять плачет, но уже тихо и без слез, с сухими глазами.

Голос у Катрик мягкий, переливчатый, немного насмешливый. Бывает и грустный, беспокойно звенящий, с маленькой хрипотой. Зубы мелкие, острые и похожи на тоненькие гвоздочки. Лицо нежное, девственно-непомятое, но уже несколько бледное, впрочем, скорее от малокровия. Кожа на щеках прозрачная, эластичная. Волосы короткие, темного цвета и лежат по плечам, волнистые, небрежно и красиво раскиданным шелком.

Катрик — хорошенькая.

Таинственно-очаровывающая, она похожа на вечернее небо в искрах и огнях умирающего солнца.

К Валентине приезжает часто, больше по субботам и непременно вечером в шесть часов, всегда точно и аккуратно, как в канцелярию. Зайдет в комнату, улыбнется.

— Встречай, Валечка, к тебе еду... на зимовку.

Валентина удивится и нарочно рассердится.

— Ведь ты не хотела больше приезжать. Помнишь. Ну так и убирайся назад в свою Маюровку... Ступай...

— Не хотела, Валечка, а вот приехала... Ничего ты тут не поделаешь. Когда еще в сани садилась, а потом полем ехала, — все думала, что повезут по другой дороге, в другое место...



А дорога, смотрю, старая, знакомая, и лошадь остановилась у твоей школы. И сама я вот сижу у тебя; и рядом со мной ты и твоя красавица-кошка с голубыми глазами. Ничего не поделаешь, Валя.

Смеются.

— Ну, что новенького привезла, Катя?

— Но-овенького? Видела себя в прошлую ночь на каком-то празднике. Все танцевала, прыгала и влюбилась в медицинского студента. Каталась с ним по морю, хохотала над Маюровкой и слушала, как кричат морские птицы... Потом вышла замуж за медицинского студента. Потом надоела ему, наскучила, — он бросил меня, и сам уехал. Я села на какую-то дорогу и заплакала. А когда проснулась — расхворалась и не ходила на занятия. Поп сделал запрос: почему не занималась. Вот и новенькое.

Опять смеются.

Бывают дни, когда Катре не хочется ни ходить, ни сидеть, ни лежать, ни говорить... Голова до того разбита, что легче бы ее расколоть, как ненужный черепок. Сердце забьет, застучит, и мучительно ждешь: вот сейчас прошибет кости, покатится по полу, лопнет и заохлодеет. Больно запоет и заплачет хрупкое тело. Забурлит, поднимется молодая кровь и начнет гонять, словно на потеху кому, из угла в угол по комнате.

Подбежит Катрик к окну. Прижмется лицом и стоит неподвижная. Небо холодное, сизое, застеклевшее, точно глаз околевшей скотины. Облака висят низко над крышами изб разорванным телом. А за Маюровкой степь — круглая, пустая, с крестами у церквушек по селам. Вон далеко-далеко прыгают дрянные санишки с рогатым задком. Опрокидываются на бок, пропадают в снегу — и опять прыгают, опять бегут, плывут запуганной птицей.

Может быть, это и не санишки, — а умирает человек. Кувыркается, машет руками; дрыгает головой, взвертывает ноги и не может умереть. Может быть, он и не умирает, а так себе, только дразнит, только смеется над девушкой у окна.

Как обожженная отбежит Катрик. Мечется, извивается, забегает в угол. Стоит в темном углу бледная, вздрагивающая, а в синих глазах — мольба и испуг.

Кто-то невидимый и злой клещет, гоняет и не дает места. Забежит в спальную — в маленький ящик с одним окном — и мертвому упадет в постель, раскинет руки, разорвет, прокусае подушку. Тоска.

Начнет считать, только бы уснуть, только бы закрутить, перепутать мысли.

— Раз... два... три... десять... двенадцать... три, три-и, пятнадцать, сорок восемь... восемь... девять... три... три... четыре, пять... три-и-и...

Кто-то тянет за ногу.

Кто-то скоблит в волосах...

Свищет в уши. Щекочет спину.

Кто-то стоит сбоку и заколачивает в голову острый, горячий гвоздь...

„Раз... два... три...“

Катрик прыгает с кровати и опять бежит к окну, а в голову колотят:

„Раз... два... три. Раз-два... три... три-три-три“...

Безликий и неощутимый вплетается в темные волосы, входит в мучительно-деланную улыбку, растворяется в крови, смотрит из цветочных глаз и ласкает, баюкает голосом любимого отца:

„Милая девушка, ребенок мой нежный. Ляг и усни. Застуди кровь, оборви дыхание — и ты узнаешь покой. Узнаешь и благословишь небытие... Скучно тебе. А жизнь обманет, как глупая цыганка. Дрянным пальцем сотрет румянец на щеках, пиявкой высосет кровь и бросит, как ненужную истоптанную ботинку... Посмотри на Валентину... Скучная сказка“.

„Нет, нет, нет!“ — замученно мечется сердце.

— Я хочу жить. Я еще не любила. И не знаю любви. Маленькое я. Ма-аленькое... Не убивайте... Я хочу жить... Слышите: хо-очу-у...

Катрик стоит у окна и плачет молча без слез, с сухими глазами.

— А в городе теперь весело... там — вечный праздник. И жизнь там — огромная лампа, где сгорают быстро, не чувствуя мук... А гореть надо — все равно. Как кусок дерева, сгоришь за длинной работой для других, которым не нужна... Составишься и позеленеешь, а своей жизни нет и не будет...

Машина. Дурацкая кукла на пружинных ногах... Дьявольское веретено. Веретено... Веретено. Кукла. Ма-ашина...

В комнате пусто.

Со стены опрокинулась клочковатая тень. Двигается, качается и висит безглазым, непридушенным телом. В окна смотрят сумерки, темно-молочные с жиденькой мутью. А за ними тихо, не дыша, черной кошкой, осторожно и легко ползет ночь. Скоро вольется в комнату, обовьет стены, разляжется по углам,— и будет в комнате жутко и неприятно, как под умирающим взглядом. Зажжешь керосиновую лампу, а от нее посыпятся красные точки и станут дрожать в темноте, как непросохшие слезы из крови.

— Уехать, что ли, куда-нибудь... или уйти...

А уехать и уйти некуда и не к кому.

В Липовке за семь верст учитель-алкоголик. Никуда не ездит сам и никого не принимает. По вечерам запирается, окна завешивает, чтобы не видели, и в мрачном одиночестве пьет до слез, до глухого проклятия... Говорят, что он — подлец, обманул жизнь, а жизнь обманула его. Чтобы отомстить, плюет на все человечество, а прежде всего — на самого себя. Человек в общем помешанный, и во всяком случае — больной. К такому не поедешь.

Был еще учитель в Гороховом, но теперь в тюрьме... второй год. На его месте — человек незначительный, мелкий карьерист, пошляк и заноза. В кривулинской школе какой-то семинарист, — необыкновенно умный и необыкновенно скучный...

Есть, впрочем, поп — заведующий, а у попа — матушка, но это, так сказать, „культурная мебель“. К ним Катрик ходит только за бумагой на школу да сказать, что в школе холодно, а мужики не везут дров.

Близкий человек — одна Валентина.

Но скучно и у нее.

Надоело смотреть в лицо и видеть одно и то же выражение — скорбное, тревожно-ожидательное. Надоело и опротивело двигать щеками, спрашивать, отвечать и сидеть молча по целому часу. Валентина спросит и расскажет то же, что спрашивала и

рассказывала раньше, о своей печали, о пустых вечерах, о бесконечной работе и одинокой безвыходности... В знакомых словах, обрывчатой речью торопливо повторит, что ей уже двадцать пять лет, а она еще не жила для себя, а хочется жить. Хоть бы один коротенький час светлой, красивой жизни, чтобы вырвать крошечный кусочек счастья и радости. Она нежно обнимет Катрю, стиснет ей плечи, разгорится лицом, и полется жалобная откровенность, лишняя, ненужная, а пожалуй и смешная.

— Катенька... Катенька... Цыпленочек милый... Птичка ты хорошенькая...

Потом тихонько уколует, чтобы облегчить обиду свою:

— Посохнешь.

И засмеются обе одинаково растерянно, кем-то напрасно обиженные.

Тоскливым звоном по-мертвому задрожат, закачаются смешинки и до боли простукают голову.

Катрик стоит у окна. Думает:

— Ну, буду сидеть... Мучиться буду. Лягу и усну. Ходить стану. Топать ногами... Свистать стану, как мужчины... Кричать буду,— а к Вальке не поеду. Зачем? Чего делать? Та же тоска... Та же тревога... Не нужно... Не надо... Вот разденусь сейчас, лягу и буду мечтать... о людях... о птицах... о больших кораблях... о маленьких лодках... Представляю себе море... морской песок... морские брызги... морские дали... И синий дымок парохода... будто я в море... будто я еду... А потом расплачусь и усну... После слез непременно уснешь. И боли затихнут, как под камнем... Я знаю... знаю я... знаю...

Катрик не слышит и не сознает, как кричит сторожу через стену:

— Николай, сходи ступай за лошадью...

— Куда, Катерина Сергеевна, ехать-то... как сказать-то?— спрашивает Николай.

— В Васильковку... В Васильковку... Да иди, пожалуйста, поскорее... Ах, какой ты мешок... Беги бегом... Пожалуйста, беги бегом... Ужасно некогда...

## 3

Вот и в Васильковке.

Катрик закрыла глаза и не вылезает из саней. Будто дремлет и не видит, что приехали и стоят у крыльца школы.

— Слезайте, барышня, Катерина Сергеевна, выходите.

Возница берет Катю за плечи и легонько трясет.

— Ба-арышня, али уж уснула... Вылезайте.

— А? что, приехали?

— Да-авно уж... Насилу разбудил вас...

Катрик заходит на крыльцо.

Зябко пожимает плечами и стоит у дверей. Глаза сощурены, а длинные ресницы побелели от мороза. Руки положены в рукава. Волосы выбились, и по ним белыми мушками легли крупинки снежинок.

— Вот и приехала... Вот и доехала... Час езды — и здесь. Валька, наверное, сидит у стола и вяжет салфеточку... Может быть, чулки штопает... Она решительно все сама делает... И платье сама шьет, и кофточка чинит... И ужин готовит сама... Удивительная. Да ведь оттого и пальцы на руках потресканы, и кожа проколота булавками да иголками. Гм... а может быть, сидит и тихонько плачет и поет песню, нарочно невеселую... На сундуке — кошка, хрустит носом... А Валька — поет. Смешно. Сяду и я рядом. Тоже буду петь... потом молчать. Буду смотреть на часы и ждать двенадцати, чтобы лечь и проспать до десяти. Смешно. А раньше и не уснешь... Разве слезть с крыльца тихонько и уйти назад?.. Нанять лошадь и покружиться всю ночь по белому снегу, без мыслей и без цели?.. Впрочем... Да не все ли равно... Не хочу... не надо...

Катрик идет в комнату и, не глядя, говорит от порога:

— Здравствуй, учительница. Ждала, что ли?

— Конечно, ждала. Ты что какая сегодня? Не хвораешь ли? Выраженье-то у тебя большое... Или случилось что?

Валентина за тетрадами.

На ней белая кофточка по-весеннему, с голубыми листочками. Белый цвет трогательно и нежно оттеняет легкую желтизну подтянутых щек, слабый румянец и затаенность тоскующих глаз. Волосы переплетены. Русая коса виноградной кистью упала через плечо.

— А я все с работой,— морщится Валентина.— Ужасно надоело. Ты что стоишь, Катя,— садись... Да ты озябла... Смотри, посинела вся... Раздевайся скорее...

Катрик язвит:

— А я думала, салфеточки вяжешь.

Валентина смотрит на тающие снежинки в волосах, на розовые щеки и спрашивает упавшим голосом:

— Опять нервы?

— Тоскую...

Катрик сбросила шубу, размотала платок на голове и села рядом.

— Тоскую, Валечка. Мыльную петлю таскаю на шее и все жду: вот сейчас вздернут концы, перережут горло, подтянут тело — и закачаешься трупом. Внизу — яма. Над головой крышка, а выше крышки солнышко... птицы... И слышатся чьи-то веселые песни... Кому-то весело... А мне грустно...

— Ты больная, Катя... Брось, не думай... Ты еще не жила, а уже думаешь о смерти... Брось, пожалуйста...

— Валька... Валька, не утешай... Не надо... не говори... Сиди молча... Слушай, как стучит у меня сердце... Считай. Раз... два... два-а. А вот и нет. Наступили сапогом. Впрочем, наплевать на сердце... Не нужно... Не считай... Ты что смотришь на меня. А у тебя все попрежнему. Да... да... да... И комната старая... прежняя... И три окна на улицу... Хоть бы разбила одно... И герань вчерашняя. И картина на стене все та же... И стулья стоят в таком же порядке... Ску-учно, Валька.

Валентина обижается.

— Зачем же ты едешь? Ведь знала же, что ничего нет...

— А черт его знает, зачем я ехала... Не хотела и слезать-то у тебя, да ямщик ткнул рукавицей в плечо и говорит: „Вылезайте, барышня, приехали“. Вот и вылезла.

— Чудная ты, Катя,— улыбается Валентина.— Хохотать бы только над тобой...

— Что же не хохочешь? Хохочи. А по-моему, ты, Валя, чудная-то.

— Я-а?

— Да-а, ты. И знаешь, просто смотреть на тебя жалко...

— Серьезно?

— Ей-богу. Словно кнутом тебя высекали. Ты стыдишься заплакать, а самой и больно, и досадно, и обидно...

Валентина стала вдруг маленькой, смешной старушонкой, какие стоят все у церкви на паперти в праздники с дубовым подошком, с просительным взглядом негреющих глаз. Она сидит смущенная, растерянная; смотрит на голубые листочки по беленькой кофточке, и не видит ни одного листочка. Возьмет карандаш и подержит в руках; положит на стол, посмотрит издали — и опять возьмет. Забывчиво почертит на бумаге — и снова бросит в сторону от себя. Придвинет тетради, сложит их в красивую стопку — и вдруг раскидает по столу. Выдернет кисточку у платка и улыбнется, не шевеля губами.

Сердце бьется беспокойно, с длинными перерывами. То застучит часто, подтянется кверху, то сразу оборвется, упадет и замолчит. Кажется, что нет никакого сердца, а вместо него — кусок холодного мяса. И кровь давно перестала двигаться и застыла свинцом. Мысли в голове — разбитые клочья. Словно ветер дохнул на них, разорвал и бросил по сторонам. И закрутились они, как перья, пущенные сверху.

Катрик смотрит на Валентину, пристально, затаив дыхание.

Удивленно, точно в первый раз, рассматривает руки, тонкие пальцы, смятую складочку в юбке и русую косу через плечо.

Вот другая складочка...

Изогнулась, перевилась и бессильно умерла.

Вот третья.

Натягивается, тихонько вздрагивает, тихонько дышит, словно червячок. А пальцы — тонкие, бескровные, и кожа на них синеватая. У покойников такие руки... Наверно, холодные... А лицо... Господи, какое лицо!

Посмотреть издали — ничего не заметишь. Самое обыкновенное лицо: немного усталое, помятое, немного печальное. Красивое даже... привлекательное... А всмотришь в каждую жилку, в каждое пятнышко... Последи, как неприметно дрожат эти вон дьявольские морщинки под глазами и возле ушей.

— Нет, не надо смотреть. Не надо... Не нужно... А то еще расплачешься и проплачешь до утра, а утешать никто не придет. Не надо смотреть.

— Вон на сундуке — кошка. Разве подойти к кошке и сделать что-нибудь смешное... Ну, хоть погладить, потрепать за уши... Заткнуть ей нос платком и смотреть, как будет задыхаться, брыкать головой и царапать когтями.

— Кыс-кыс-кыс...

Не слышит.

— Спит, что ли, или просто притворяется. Взять вот за хвост и ударить головой об стену. И пусть жалуется... Пусть плачет... А Валентина, наверное, знает, о чем я думаю. Только не хочет спросить... Разве рассказать ей все... И про лицо... и про пальцы... и... и... и... А сама-то я... Да что же сама. Пусть и сама... Пусть и я... Пусть... Разве не все равно... А кошка проклятая смотрит прямо мне в глаза... Проснулась... Надо выгнать ее... Фу, дьявол, да она смеется... Смотри... смотри... Ва-алечка.

Катрик ближе прижимается плечом и по-ребячьи прячет голову в грудь. Тело дрожит, лоб холодеет, а ноги стыннут, точно на льдине стоит.

— Ва-алечка.

— Катя... Катя... Ты что? Что с тобой?

— Спрячь меня... Закрой шалью... Бо-о-юсь... Кошка...

Валентина прижимает Катрину голову, разглаживает волосы и утешает, а сама не сознает, что говорит. Мысли далеко. Не здесь — не в комнате.

— У тебя лихорадка, Катя... Ты дрожишь... Выпей хины...

— Ва-алечка...

— Катя, да ты пугаешь... И взгляд дикий... Стекланный какой-то... Что с тобой?..

— Не нужно хины, Валечка, не надо... Ты о чем сейчас думала?..

— Ни о чем я не думала... И у самой голова что-то разболелась...

— Нет, ты думала... Я знаю... Все знаю... Только не скрываешь... Ты боишься меня и всегда скрываешь мысли... А меня считаешь за девчонку... Ну, и не надо... Не сказывай, я знаю... И сама скажу тебе...

— Опять ты, Катя, начинаешь... Ну, думала, как бы шубу купить... И из белья что-нибудь... Видишь — пустяки.



И рассказывать не стоит... Вспомнила гороховского учителя и тюрьму, в которой он сидит... Вспомнила смотрителя из уездной тюрьмы с пятнышком на щеке и пупырчатым носом... Смешной такой из себя, а ласковый... Вот и разметалась...

— Валечка, ты врешь.

— Вот ты какая, Катя... Каждую мелочь заставляешь рассказывать... Ну, припомнила еще, как в прошлом году... Да ты знаешь... Сватал меня псаломщик из Лебяжьего... а я не пошла... Он напился с горя пьяным и расшиб себе нос в коридоре... А я хохотала... видишь — все пустяки.

— Валечка, ты врешь... Ты не сказываешь...

Катрик смотрит в лицо и говорит тихо, словно в бреду:

— Врешь, Валентина... Хочешь, я скажу тебе, о чем ты думала... Я ведь знаю.

— Ка-атя.

— Ну, ладно... ладно... не буду... Только не Катя я, а Екатерина Сергеевна... Дай-ка мне хины... Да ты не вставай, не нужно хины... Оденься теплее шалью... Вот так... Не сердись, Валя. Грустно что-то... Смотрю на твое лицо, на твои волосы, на твои пальцы, на беленькую кофточку — грустно. Слушаю, как дрожит сердце, как дышишь ты, как говоришь, как сама я говорю — тоже грустно... Не знаю почему, только тяжело мне... Может быть, скоро умру...

— Как ты мрачно думаешь, Катя. Ведь это мучительно...

— А ты весело думаешь.

Катрик неосторожная: говорит, будто одна и не чувствует другого. Бросит маленькое слово, а оно ножами изрежет сердце в мелкие кусочки и больно хлеснет по ушам.

— Ты не искренно это, Катя... Просто с целью... Ты очень злая...

Катрик не слушает. Говорит, а похоже, — читает книгу...

— На могилу мне положите доску и напишите: „Здесь лежит Катрик, учительница из Маюровка. Умерла восемнадцати лет... Очень хотелось жить, а умерла... Все ждала счастья, бредила счастьем и, умирая, прокляла счастье...“ — Слышишь, Валентина, — у-уми-ра-я, про-кля-ла-а...

Молчат.

— Валентина, скажи откровенно, я красивая или нет?

Валентина не отвечает.

Катрик встает и подходит к зеркалу. Смотрит.

— Ты лучше была, Валентина. Погляди: у меня и нос неправильный, и глаза косоватые, и уши слишком большие... Да и рот какой-то... Дурнушка я... Ты лучше была... И не полюбит меня никто. Мимо пройдут — и не остановятся. А я хочу, чтобы полюбили... Валька, любил тебя кто-нибудь? Я бы, наверное, с ума сошла, если бы полюбил умный и красивый.. Я бы собакой стала его, только бы полюбил...

— Я уйду, Катя... Пусти... Не держи...

— Куда ты уйдешь? Захвати и меня...

— Уйду спать.

— Ха-ха-ха... Спать. Да ведь девять часов еще только... А мы, знаешь, в двенадцать привыкли... А дома вон я и в два не усну. Лежу на кровати и думаю... О чем думаю — и сама не знаю... А спать неохота...словно в камере какой сижу и все считаю дни, когда выпустят на свободу... Нет, ты посиди, не ложись... Давай говорить о жизни. Слушай, Валентина. Давай говорить... Не смотри на меня. Закрой лицо. Я расскажу одна. Ну, слушай. „В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том“... Нет, погоди... Это ведь сказка... Начну по-другому... Не мешай, Валентина. Жили две девушки, Валя и Катя... Впрочем, зачем же имена... Так и будем говорить: жили две девушки... Одна была молоденькая, а дру-у-га-я...

Валентина поднимается с места и идет в спальную.

— Ну, давай спать, Валя, давай. Иди, ложись... Перекрестись три раза и скажи: господи Иисусе, благослови меня на сон грядущий... Ха-ха...

Катрик берет Валентину за руки и упорно смотрит в лицо острым, обжигающим взглядом.

— Ну, слушай: а другая — ста-аруха... Желтая бумага... Старушонка... С узенькой грудью... С потерянными глазами... Обеим им хотелось жить, до слез хотелось, до сумасшествия, а жизни у них не было, и была одна работа, огромная шпулька, бесконечная нитка...

— Ка-атя.

— Смотрели они вперед, и впереди стоял вчерашний день. Смотрели назад — кошмарная пустота. И рабочий верстак...

Маленький проклятый ящик... Я-ащик... Крошечный сундучок...

Катрик стучит ботинкой и истерически кричит:

— Су-унду-чок... А в этом сундучке, словно кофточки, словно непутные юбки, — наши думки... наши мысли... наш разум... наша кровь... наше тело... Наша скорбь... На-а-аша мо-олодость...

Рот у Катри свернулся набок. Губы побелели. Синие глаза смотрят дико и темно. Хрупкое тело разломилось, безнадежно погнулось, а красивая голова безумно качается на плечах.

— Валька... Валечка... Валентина... а я жить хочу. Для себя... счастья хочу я... своего... маленького... быстрого, а своего... А где оно?.. Кто его даст? Любить я хочу... Слушай же... Ну, слышишь, что ли? — Блудница я... Как и ты... Как и все... Blu-удни-ца-а...

Катрик хватает воздух, вскидывает тоненькие руки — и не слышит, как подкашиваются ноги, как плывет и падает тело.

— Blu-уд-ни-ца-а...

#### 4

Два часа ночи.

Тихо. Пусто.

Хоть бы снежинка хруснула за окном. Хоть бы песню кто запел или крикнул.

Только медный язык у часов, как голодный щенок, однотонно щелкает зубами, рвет время, складывает в кучки, глотает минуточки и опять по старому месту: „Так-так... так-так... так-так...“

Разболелись уши, разболелась голова, мучительно и горько расплакалось тело под короткими тупыми ударами без конца и без счета.

В спальней слабо горит керосиновая лампа убавленным фитилем. Зеленый огонек разрядил, разукрасил черноватые стены длинными стрелками, тонкими извивами; мягко позолотил серую ткань паутины. Круглым пятном лег на потолке и ходит, вздрагивает, качается, точно живой.

Валентина сидит, прислонившись к стене. По губам разорванно легла скорбная улыбка. Маленькая слезка пробежала по

щеке темной дорожкой, рассыпалась и припалила огнем желтоватую кожу.

В глазах — ни упрека, ни мольбы, ни раскаяния. Как два острых гвоздя, они впились в пространство, всосали в себя пустоту — и заволодели.

И сердце не бьется. Покрывалом смерти лежит на груди тонкая кофта из белого.

Катрик — на кровати.

Маленькие детские ноги стыдливо оголились до колен и свесились вниз, как отрубленные кости с розовым мясом, — слабо и беспомощно.

Лицо в подушке.

Темные волосы испуганно разметались в стороны и протянулись вдоль плеч тонкими шелковинками. Тело трепыхается, колотится; плечи заостренно поднимаются вверх, слабо падают вниз — и опять поднимаются.

Катрик плачет.

Без слов... Без движения мысли...

Может быть, сейчас нужно умереть... Поплакать тихонько, чтобы никто не видал, и не вставать на занятия... А может быть, ничего и не случилось... Все просто... Все в порядке, все на своем месте... Стоит только вот сейчас же встать, пройтись по комнате, освежить голову, расчесать волосы и оправиться перед зеркалом. Подойти к Валентине, взять ее за руки, рассмеяться — и снова все по-старому. Валентина присядет к столу, рядом разляжется кошка, затопят печку, а Катрик будет читать книгу. Потом станут говорить, смеяться, вспоминать знакомых, летние каникулы, — а потом лягут и уснут... Да и что такое случилось? Отчего тяжело поднимается грудь? Кто наступил на нее?

— Ва-алечка!

Валентина не слышит.

Сидит попрежнему и безучастно смотрит на Катрины плечи, на ее повисшие ноги.

— Ва-алечка!

Не отвечает.

Опять дрожит маленькое тело, торопливо вскакивают и падают плечи. Испуганно мечутся темные волосы рассыпанным шелком.

## НА ЗЕМЛЕ

### 1

**В** полдень душно. Накатывается облачко, но скоро разрывается, висит дымчатой паутиной. Воздух наливается пылью, горьким раствором полынного — дышать нечем.

Шестнадцатилетний Федька отпрягает соху. Стаскивает хомут с лошадиной шеи, лошадь подводит к телеге. Привязывает за грядку, бросает на лубки сноп соломы, совестливо угощает:

— Ну, поешь маленько, похватай!

Лошадь разевает рот, высовывая язык. Обнюхивает солому, неохотно берет маленькую прядочку. Долго растирает на зубах, чавкает, двигает щеками, вешает голову. Стоит с непрожеванной прядью в зубах. На спине ей садятся мухи, в кровь прокусывают толстую кожу, разъедают тощую подтянутую грудь. Шевелит лошадь хвостом, но хвост у нее жидкий, короткий, хлопает только по ногам. Хвост был длинный, густой, доставал до самых плеч, но это было давно.

Федька становится сбоку, пальцем щупает пересохшие болячки на лошадиной шее, обиженно смотрит на мух. Дает им засунуть нос в кожу, подойдет, поймает в кулак. Оторвет крылья, ноги, раздавит голову.

Мух много. Вздувшиеся, налитые кровью улетают, появляются тоненькие, злые, голодные. Целой тучей виснут над телегой. Лезут в уши, садятся на глаза.

Федька смотрит и не знает, что делать.

— Ну, ешьте, чорт с вами. Сосите!

Лезет под телегу, вынимает тряпицу с хлебом. В кружку наливает воды из кувшина.

Обедает.

Хлеб густо намазывает солью, смачивает водой, долго катает во рту. Напряженно двигает скулами — не может проглотить. Горло саднит, зубы ломит. Вода теплая, неприятная.

— Слава-те, господи!.. Накормил...

Выплескивает воду, прячет недоеденную корочку, вынимает тряпичный кисет. Скручивает папироску, ложится на спину. Крепко затягивается дымом, долго держит в щеках его, рассеянно выпускает колечками. Опять затягивается, опять долго держит в щеках, тихонько вздыхает.

— Нда-а, жи-изны!..

Закрывает глаза, лежит неподвижно.

Лошадь встряхивает головой, тихо стучит по лубкам уздечкой. Звонко поют тощие голодные мухи. Над телегой кровавым пятном стоит солнышко, жжет босые ноги. Шестнадцать лет вот так. Подпалит кожу, ударит в голову.

Ветер треплет полынный, крутит пылью, выколачивает ржанину. Пригонит жиденскую тучку, брызнет дождем, прошумит — снова духота... Как кирпичи, один за другим складываются дни...

Когда был еще маленьким Федька, клали его в борозду, вот на этой земле, нарочно душили пеленками, чтобы умер. Над головой кружились галки, норовили выклевать глаза. А дома сажали на печи, долго не давали хлеба. В слезах доходил до припадков, сосал тряпицу. Корчился, на минуточку затихал.

Смотрели — не умер ли. Крестили большим крестом, вздыхали облегченно. Но в груди у Федьки тикало сердце. Отец от досады не заходил в избу. Мать брала Федьку на руки, со слезами согревала грудь. Чувствуя грудь, Федька вздрагивал от тепла и ласки и, как котенок, в кровь прокусывал черные тощие соски.

— Нда-а, жи-изны!..

Душно, тяжело. Кто-то откачивает воздух, наступает на грудь.

А потом Федькин отец, затравленный голодом, ходил по селу, отыскивал хлеба. Никто не давал. Ранним утром весной собрались мужики около барских амбаров. Подошли к конторе, сняли шапки.

— Хлеба!

Управляющий расхохотался.

Мужики сняли замки у амбаров.

А на другой день приехали „начальники“. Десять телег насажали мужиков, увезли и отца. Дорогой помер он под прикладом солдатской винтовки.

Лезет Федька из-под телеги, садится на колесо. Лошадь поднимает умирающие глаза на хозяина. Слабо стучит уздечка, слабо шевелятся уши. Еще один последний раз стукнет уздечка, выдавит тоненький крик, и Каренка упадет. Раскинет ноги и скажет, как человек:

— Ну, хозяин, больше я не встану, не пойду бороздой. Двенадцать лет работала на твоего отца, три года надрываюсь с тобой. Маленьким жеребенком бегала здесь, таскала борону. Много подняла земли, много уронила силы — теперь прощай! Один живи.

Федька обнимает лошадь за шею, мокрой щекой прижимается к синим оттянутым губам. Не знает, чем утешить „кормилицу“.

После обеда Каренка ходила с трудом. Ногами двигала слабо, дышала тяжело. Часто останавливалась, хватала полынь, бессмысленно держала на зубах. Не хватало свежего воздуха, не хватало силы. Моталась, не могла сойти с места. Соха тяжелая, сошники глубоко лезут в землю. Федька упирается грудью, подталкивает соху вперед. Щеки наливаются кровью, жилы на лбу напружиниваются.

— Ну, Каренка, ну!.. Натянись как-нибудь еще... Натянись! Руки-то... руки-то... Батюшки! Да что это такое? Тпру!

Лошадь останавливается, соха падает на бок. Федька садится в борозду. Снова ставит соху, снова упирает грудью, натягивает мускулы, а через полчаса опять садится на отдых. Сидит, точно подстреленный...

## 2

Приходит дед Петр с другой десятины. Деду Петру шестьдесят лет. Голова белая, снеговая, лицо коричневое, с оттянутой кожей. Росту высокого, ходит босиком, в длинной посконной рубахе. Издали похож на выгнутое дерево с обломанными

сучьями. Был у деда Петра сын. Потребовали спасти отечество. Дед испугался, не поверил, что увезут. А когда подъехала подвода, затопал ногами.

— Уйдите!

Сын остался в манчжурском гаоляне. Хозяйство сгнило, развалилось, поправить нет силы. Младший сын сбежал в город, не пишет. Может быть, тоже убили.

Дед садится рядом с Федькой, поджимает ноги. Тихо кругом. Только мухи шумят в духоте, да лошадь постукивает копытом. Спустится черноносая ворона с разинутым ртом. Стоит, уронив пропыленные крылья. С болью выскочит одинокая песня. И снова тихо.

Федька дико смотрит сухими воспаленными глазами. Старик сидит, крестом сложа руки.

— Детки... Сыны мои!..

Хочет подняться и не может. Ноги затекли, кости размяты. Тычется головой в борозду, плачет.

— Эх, дед, дед!.. Все равно не пожалеют... Зачем плачешь?

— Двух сыновей отдал...

— А у меня отца убили.

— Феденька, не говори!

— А ты молишься богу, дедушка?

— Бо-огу?

— Мать у меня часто лежит на полу перед иконами.

— Бо-огу?

Закружились мысли, кто-то ударил кирпичом в голову.

— Молюсь.

Вечером Каренка легла под сарай. Федька брал ее за голову, с ужасом смотрел в холодные застеклевшие глаза. Брал за ноги, со слезами поднимал.

— Вставай!..

Каренка лежала.

В отчаянии садился рядом, пальцем чесал спутанную гриву. Не знал, чем отогнать подошедшую смерть. Приносил ножик, глубоко взрезывая хрящик хвоста. Кровь не шла.

— Умрет!..



Растирал ноздри, совал в них соль, кормил из рук кусочком.

Каренка выплевывала кусочек назад.

— Нет, не работница.

Начал жаловаться.

— Вот и ты умираешь... И отца у меня нет... и денег нет...

Да что же это такое? Господи!.. Что вы делаете?..

Одинок стучал Федькин голос в темноте.

Ответа не было.

## БАБА - ИВАН

### 1

Лет тридцать тому назад, а может, и больше — не помню теперь — был я кабатчиком в селе Ряскине. Кабаки тогда были вольные, откупные, торговля шла бойко, водка выходила бочками. Да и не водка, надо вам сказать, а так себе, извините за выражение, — сволочь навозная. Бывало, и табаку натискаешь, и перцу положишь, и еще чего подольешь, только бы с ног сшибало. Мужики и сами иной раз просят, когда в девятом разгаре находятся:

— Ты уж, Николай Кирилыч, подложи для крепости. Человек ты угарный, знаешь, что и как.

Ну, и подложу.

Иного так скрутит, — неделю целую не встает на работу; за попом посылает, умирать собирается, плачет, хнычет, а поправится немного — опять ко мне, и печали нет, — улыбается:

— Ты уж больно здорово, Николай Кирилыч! Нельзя ли полегче? А то, дьявол тя заешь, оставишь моих ребятишек без отца...

А народ в Ряскине горчайший пьяница был, не знаю теперь как. Дорвутся до винища, просто лопнуть готовы. У иного глаза выскочат, лицо почернеет, засопливится, на четвереньках ползет, а все еще просит:

— Николай Кирилыч, налей полуштофчик! Отец родной, пожалей сироту. Ну, плесни, что ли, дьявол, стаканчик! Ей-богу, нутро не накипело.

Я тогда при своих интересах находился.

— Да пей, мол, лохань ты эдакая. Наливайся! Если, помилуй бог, грешное дело, — я в стороне, и перед начальством

отвечать не намерен, покорнейше благодарю.— Иногда все-таки скажешь:

— Эй вы, христиане! Шайтаны эдакие, не довольно ли? Смотрите, не полопайтесь... Сам-деле, мужики, будет... да и мне спать пора.

— О-о-о! — закричат.— Ты нас не жалей, Кирилыч. Мы народ земляной. Шесть дней на земле батрачим, от нужды-горя плачем... В седьмой — напиваемся, на восьмой — с похмелья валяемся, перед господом-богом каемся. Не-эт, рублевая твоя душа, ты нас не жалей... Нас бабы пожалеют. Твое дело молчать. Копи деньги да считай наши полтинники. Подавай еще четверты! Зоровать хотим...

Смотришь эдак, смотришь, — плюнешь, замолчишь. Очень-то нужно. У меня свои интересы.

## 2

Жил в то время в Ряскине Максим Скорняков. Мужик не глупый, но пьянствовал по целому месяцу. Нет денег — принесет хомутишко. Не возьмешь — тащит ведро, а то сапог, варежку, колесо и прочую мелочь. Это не примешь — снимет рубашку с себя, стоит босиком. Лицо делается нехорошее — брезговал я. Иногда торгуется-торгуется, скажет:

— Ну, душу мою купи. Дешево отдам!

Посмотришь на него, нальешь стаканчик из жалости. Максим недоволен.

— Не-эт, целовальник, стаканчиком ты меня не ударишь. Если у тебя ангельское сердце, выноси полуштоф. С полуштофа я, может быть, и спать лягу, и сон хороший привидится мне.

Скажешь ему:

— Таких голубчиков, как ты, в сумашедший сажают.

Осердится Максим.

— А тебя бы я давно посадил, кабы воля была. Тебе ли, бутылка, учить меня? Вошь ты кабацкая! Меня поп учил, дячок доучивал, жена экзаменту задает — и то без пользы... То-то, видать, ангел ты в суконной жилетке... Христос ярославский! Хочешь, я рифметiku проделаю над тобой?

Смешно мне над человеком, хохоchu. Натешится, наругается и совестливо так улыбнется:

— Не сердись, Кирилыч. Больной я человек. Не люблю, кто учит. Да и зачем учить? Мое дело стаканушку опрокинуть, да развеселую песню смазать, да бедность свою рассмешить, да умных людей, как ты вот, потешить, да кому-нибудь в бороду наплевать. Смекаешь? Тут, милый мой, дважды два... Ну, дай, што ли, полуштофчик!

— Не дам.

— Ну, верхом садись на меня, по улице проеду с тобой. Выручи, целовальник!

Была у Максима жена. Звали Домной, в шутку — Иваном.

Приехал в Ряскино господин становой пристав. Староста собрал сход. Максим ходил по селу, продавал душу, пару портянок, да еще что-то — не помню. Домна поймала его, заперла на конюшню. Боязно от пристава: то да се, пятое-десятое — начальство. А господин пристав во как не любил пьяных — беда. Ногами топает, кулаками стучит и причину отыскивает до зубов проехаться... Да-а, заперла Домна Максима, а сама на сходку. Стоит позади — слушает. Вдруг господин-то пристав и позови:

— Здесь Максим Скорняков?

Стоят мужики, повертываются. Домна думала-думала, да и отвечает мужичьим голосом:

— Здесь, ваше благородье.

— Выходи сюда!

Ну, поохотали, посмеялись, когда она вышла, даже сам господин пристав покачал головой и ласково посмотрел на бабу. С этих пор и прозвали: баба-Иван. Она не сердилась.

— Иван-то я не Иван, а Ивану не уступлю.

Росту была высокого, полногрудая, лицом красивая. Разговаривала не торопясь, каждое слово вылуживала и языком попусту не щелкала. Умная баба. Умела работать и сохой, и косой, и серпом, и вилами. А иголлка с челноком бегала в пальцах у нее — дрянной человек глазами ворочать не успеет. По борозде шла прямо, соху держала крепко, косой размахивала широко... Всему научила нужда. Загуляет миленький сокол, в поле яровина падает, зерно летит. Люди едут пары поднимать, на работе виснут, а Максим с портянками ходит по селу,

хомутишко дрянной таскает на шею — покупателей ищет. Ну Домна снесет маленьких до соседей, у кого старуха есть, а сама соху на телегу, косу — на плечо, и айда пошел. Не жаловалась, не выносила горе на улицу.

— Вот попова лошадь! — говорили мужики. — Никакой работой не заездишь.

— Да, хороша коняга, — скажет Домна. — Ох, не моя воля! Всех бы я вас, мокроусников, башмаком раздавила. Разве люди вы? Сосуны!

Пьяниц терпеть не могла, а если кого не любила, то единственно меня. Бывало, поклонись ей:

— Здравствуй, Домна. Что какая сердитая?

Посмотрит досадливо.

— Чего дразнишь? Или хочешь, чтобы я в бороду наплевала тебе? Я не торговая девка, зубы об меня околачивать...

— Ты напрасно, Домна. Может быть, за Максима обиду держишь? Я не насильно ташу.

— Я давно — Домна. Тридцать два года — Домна, ко мне не подходи. У-у, супостат немилящий!

Отчитает и уйдет.

Мужем распорядилась как собачонкой, но и жалела. Спросит, бывало:

— Не совестно, Максим?

— Найдешь совести.

— И меня не жалко с ребятишками?

— Ну, об этом помолчи, Домна. Лучше побей, только не спрашивай. Об этом говорить не полагается. Болесть у меня.

### 3

Осенью случилось несчастье. Максим три дня сидел в кабаке, спал под крыльцом. На четвертый — нашли на веревке его. Затосковал... Помрачение мозгов произошло. Ходил и я смотреть, когда взрезывали — страшно... Все мерещилось после, и голос слышал по ночам. Тихо, а кто-то плачет:

— A-a! A-a!

Земский доктор, Яков Никонич, и мозги показывал мне, и сердце вынимал из-под ребра, и все шутил по веселости характера.

— Вот бы сжарить, Кирилыч, сердчишко-то! Мясо!

А сердчишко, действительно, было сердчишко,—прямо сказать, с хорошую дыню. Ну, схоронили потом, кому надо — заплакали, и я пожалел. В воскресенье даже свечку поставил за упокой души убивицы. А когда положили в землю, придавили землей, позабыли, что жил в Ряскине Максим Скорняков. Нынче да завтра, день за день, неделя за неделю — подошла зима. Торгую, продаю, отпускаю, записываю, шевыряюсь, извините за выражение, как поросенок в грошах. Известно — не до большого. Помню, вечером накануне Михайлы - архангела сидим с женой, пьем чай. Входит Домна, а с ней — трое у подола, четвертый на руках. Помолилась на образ, села на лавку, улыбается. Ребеночка тютюкает. Смотрим мы с женой и тоже молчим.

— К тебе, Николай Кирилыч. Не обессудь, что поздно.

— Милости просим, будь гостьей...

— Чаек кушаете?

— Нда, потеем вот от безделья. Сажай, баба, Степановну, пусть погрееется с нами.

— Спасибо, ласковый, угощайтесь.

А сама все улыбается.

— С докукой я до тебя... Сосчитай потрудись, сколько тебе пропил покойный.

— Зачем считать? Должен не остался.

— А ты все-таки посчитай. Не поленись. Деньги очень надо...

— Какие деньги?

А она головой покачивает.

— Ох, ты притворщик! Ох, ты глупенький дурачок! Будто не знаешь? Вон ребячьи, сиротские деньги... Посмотри, добродетель, в чем вожу их... Вася, выйди к дяденьке, покажи ему ноги свои. Поленька, сними рубашонку, пусть посмотрит. Да не стыдись, глупая, маленькая ты. Чирушки у нее на брюшке-то пробиваются, простудилась. И этот вот назола кашляет все...

Раскусил я бабью задачу, больно тогда рассердился.

— Слушай, Домна, я — не сахар, в воде не растаю... А ты уходи!

— Уйду... Не ругайся. Давай побеседуем.

— Ругаться мы не будем и беседовать нам не о чем... Коли у тебя нужда, так бы и сказала. Вот, мол, Кирилыч, до твоей милости. Не оставь! А то всурьез пошла. Чирушки да пупырушки,— какое мне дело.

Смотрю на жену, ничего. Вижу,—согласна со мною. Вынимаю полтинник, подаю.

— Вот, возьми. Тоже — не каменный. Не татарин какой, крест имею.

Жена, помню, булочку сует ребятишкам. И вот, представьте себе, милостивый государь. Ведь хозяин я в дому. Хорохорюсь, тон держу, пальцем по столу постукиваю, а у самого сердце:

— Ек! Ек!

Вынимаю еще полтинник, нашариваю два пятака. Взяла Домна деньги, а сама все улыбается нехорошей такой улыбкой. Даже глаза горят, и щеки побелели. Прямо непонятно, что за дьявольская блажь влезла ей в голову. Шагнула к столу, ребятишки за ней.

— Милостыни больно большие подаешь. Али от радости?

Положила деньги на стол.

Спрашиваю ее:

— Чего тебе надо?

Вздрогнула, отвернулась. А из глаз слезы:

— Кап... кап...

Слышу, говорит мне:

— Уйди отсюда!

— Что-э?

— Уйди, не торгуй здесь!

— Чок!.. Чок!.. Фортепяна.

Выхожу из-за стола, говорю ей:

— Об этом мы после посоветуемся, Домна Степановна. Навещайте еще когда. Люблю слушать, ежели бабы языком стучат.

И Домна встала, ко мне подвигается.

— Удавился Максим-то... Слышишь?

Я уж прямо начал сердиться тут. В обиду бросило меня. Что делать?

— Разве я веревку надевал? Удавился,—царство небесное. Одним дураком меньше...

— Надевал!.. Надевал!.. Своими руками и петлю затягивал. И на переклад ты вешал. Ты!

Можете себе представить, каково! В моем доме, да меня же. Отворил я дверь, взял бабу за руку, потащил. Легонько даже толкнул, не удержался. Жена сзади ребятишек гуськом гонит. Содом, понимаете, подняли, кричат. Большенький из них прижался ко мне и колотит меня по ноге. Вывел я их в сени, а дверь на крючок. Лучше. Кричит оттуда Домна:

— Слышишь, благодетель? Не прощу! Пес ты немилый! Слышишь?

Весной сожгли кабак у меня. Сгорела лошадь. Раз. Трехсот нет. Выстроился. Через два месяца опять сожгли, а дверь заперли, чтобы нельзя было выйти, в окно выпрыгнули. Дом не штрафованный был. Еще четырех сотен нет. Знал я, что Домна это подпускает. Хотел в суд подать, да свидетелей не было, когда грозила. Думал подкупить кого за бутылку,—нашлись бы,—ну, вспомнил: крест на шее у меня. Махнул рукой. Пусть. В августе переехал в Матюшкино. А через два года и совсем бросил питейную торговлю по особым на то причинам, о которых вы извольте не спрашивать. Это дело тайны моей...

Николай Кирилыч замолчал. Подъезжали к Старой-Майне. Светало.





1911



## ЕГОРКА РОДИЛСЯ

### 1

**Н**очью в двенадцать часов родился человек. Если люди дадут ему глоток свежего воздуха и кусочек солнца — через двадцать лет из него выйдет крепкоспинный мужик. А сбежит в город — слабогрудый рабочий, трактирная слизь, полотер господского ресторана с зеркальными окнами.

Красным куском лежит на печи он, звонко плачет. Подходит старуха со стянутым ртом. Во рту у нее два зуба: желтый и черный. Налетевшим коршуном захватывает она красное тело, больно давит ногтями, с тихим шопотом завертывает в тряпицы.

На церкви бьет колокол.

Ему откликается ближнее поле, щелкает надречный берег с песчаными провалами. В дикой пляске скачет сумасшедший ветер по крыше.

Отец у стола думает. Вот еще один пришел. Научится говорить, станет звать тятей. Чтобы из красного куска мяса вышел крепкоспинный мужик, дровокол или пильщик, нужно перелить в него по капле свою кровь, отвоевать ему право дышать свежим воздухом. Иначе будет тесно и душно.

Конечно, новому человеку никто не рад, и этого от него не скроют. Разве не чувствовал он еще в крови, как тяжело жить? Уж не думает ли, что его будут ласкать, рассказывать сказки, чесать волосики, обмывать теплой водичкой? Может быть, положат в теплую постельку? Станут смешить погремушкой, чтобы не плакал?

Глупый.

Вон в углу еще четверо, тоже дети. Переплелись руками, дышат друг другу в лицо. Наверное зябнут. Хорошо, если бы

умерли. Встать поутру, а они лежат застывшие, синие, с мерзлыми улыбками. Дескать, не беспокойся, тятенька, нам хорошо.

Почему им не умереть?

Сделали бы четыре гробика, торопливо засыпали землей. А расход... Какой тут расход? Купить две тесины за сорок копеек, четверть гвоздей на пятак, панихиды можно не служить. Маленькие они, и грехов на них нет.

Не умрут.

Вырастут желтушечными, кривоногими, с толстыми животами. Замучают слезами, болезнями и все-таки не умрут. Придется свезти в больницу. Доктор станет спрашивать, какие болезни, когда появились. Осердится, скажет:

— Молоком пойте — топленным.

И будет так горько, так обидно, что доктор велит поить молоком.

Встает отец из-за стола, покрывает шубой маленьких на полу. К сердцу подливает отцовская жалость.

— Ах, дети, дети!

Сейчас проснутся, начнут просить молока. Какое им дело, что у отца нет коровы? Достань, укради, купи — выбирай любое. На то ты и отец называешься. Вон открывают глаза, потягиваются. Старший спросит:

— Ужинаешь, тятя?—Надо встать. И маленький Петиш просил вчера каши. Надо и его разбудить. Он такой маленький, всегда просит молока, думает, что его обманывают. А вон и Олека поднимается. Ну, ничего, тятя, ты не ругай его. Или не любишь нас? Ведь мы твои дети: и я, и Петиш, и Олека, и Полька, которая просит все куклу с стеклянными глазами. Разве виноваты мы? Ночью позовем тебя, должен встать. Вырастем большие, скажем: „Теперь научи, как жить, укажи дорогу. Не укажешь — по твоей пойдем. Будем жить, как ты, как твой отец. Умрешь, и мы придем за тобой. Здравствуй, тятенька, твою дорогу прошли, внучата идут по ней. Землю пашут, рожь сеют, оброки платят, водку пьют“.

Стоит отец над спящими с опущенной головой.

В Гальчовке грызутся собаки. Ветер выдирает тряпицы из окон.

Разве утопиться пойти?

Голова у отца становится огромной, ноги растут, тело растягивается.

Отец выше всех, выше колокольни...

## 2

На печи горит керосинка. Дым отходит в сторону узенькой лентой, ползает по кирпичам. На полу барахтается черный ягненок с длинными ушами, тихонько плачет. Не может понять черный ягненок, зачем он родился. Ночь темная, грязная, в избе холодно и поесть не дают. Непременно околеешь. Позовут татарина, продадут шкуру за гривенник, кости выкинут собакам.

Беззубая старуха над роженицей читает молитву против болезней: существующих и несуществующих. В руке держит пузырек с настойкой. Роженица покорно повторяет молитву.

Петиш начинает плакать.

Раньше к нему подходила мать, прижимала к сердцу. Теплое оно у нее, ласковое, сразу около него делается веселее. Почему она сейчас не идет к маленькому Петишке? Захочет он и будет плакать до самого утра, никого не послушает. Пусть пугают волком, козой, черным тараканом. Пусть даже Нухметкой-татаринном пугают, который собирает „шара-бара“.

Петиш поднимает голову.

Это ведь мать стонет на печи. Не тятя ли побил? В прошлом году прямо при нем побил. Держит она Петишку на руках, а он ее кулаком в грудь. После лезет мириться.

Петиш смотрит на отца.

Какой сердитый! Глядит себе на ноги. А чего там? Ноги и ноги. Вон лапоть худой, вон чулок спустился и веревочка на чулке развязалась.

А это что за старуха сидит на печи? Батюшки, да у нее зубов-то нет. Фу, какая нехорошая! Чего-то в руках вертит. Вон-вон, слезает, подходит к отцу.

Отец надевает кафтан, долго ищет шапку, а шапка висит на гвозде. Слеп. Берет палку, подходит к дверям, пристально смотрит на Петишку. Петишка падает вниз лицом, отчаянно стучает ногами.

— Ма-а-ма!

Старуха беззубая его утешает:

— Не плачь, махонький, не плачь. Не буди маму. Завтра гостинчику тебе купит.

Петишка узнает старуху.

По праздникам она приносит ему просфоры из церкви, иногда пряник. Только зачем она врет? Разве Петишка не слышит, что мамка стонет? Значит, не спит. Эдак и умрет — не узнаешь. Скажут: ушла за водой — и жди. Нынче — за водой, завтра — за дровами, а там на базар за шапкой.

Просыпается старший Гарась, девяти лет, смотрит на печь, прислушивается к тоненькому голосу новорожденного, разочарованно зарывается в шубу.

— Мамка родила!

Петиш хочет с ним поговорить, наклоняется к самому уху, но Гарась решительно повертывается спиной.

Вот зазнаишка.

— Кашей будут кормить, — вздыхает Гарась. — Молоком.

Где каша, кого — кашей, — ничего не понятно.

Сидит Петишка на постели, подобрал ноги, смотрит на печку.

### 3

Приходит батюшка о. Нимподист в мокрой шапке, в теплом чапане. Борода тоже мокрая, лицо строгое, недовольное. Тянет носом о. Нимподист слезавшуюся сырость, нюхает платок, неохотно раздевается. Ищет гвоздя на стене — не находит. Кладет чапан на лавку, надевает запон с двумя крестами из белого: один повыше, другой пониже.

Ну, и ночка.

Сроду Петишка не видал таких вещей. Смотрит на отца, на Гарася. Все молчат. Батюшка припадает к мамкиному уху, все чего-то шепчет, словно целуются. Хоть бы словечко услышать. Отец и руки на коленях сложил, голову повесил. Смотрит не мигая. Только кафтан поднимается над грудью, точно кто спрятанный ворочается под ним. Старуха на полу стоит около печки, в руке — пузырек.

Эх, не с молоком ли?

Гарася спросить, — но он и брови изогнул, дышит, не разевая рта. Ни за что не станет разговаривать.

— Гарась, чего это у нас?

Молчит Гарась. И черный ягненок на полу не возится. Стоит в стороне с поднятыми ушами, боится, кабы не раздавили в темноте его.

А чего это шумит?

Ой, как страшно! Не волк ли?

— Гарась!

Молчит Гарась.

Кладет Петишка голову на плечо, начинает плакать.

— Тя-а-тя!

Отец смотрит на печь.

— У трубы в тряпице видишь? На какую дорогу поставишь? Ха! В ресторан? Кати в ресторан. Дуй его в ресторан! В самый лучший, в самый господский, чай разносить. По своей дороге? Пускай по своей дороге. В кучу его, в навоз его, — глубже, на самое дно его, вот так! Петишку? Ха! Куда же Петишку? В кучера? Дуй его в кучера, к барину его, к Ивану Михайлычу. Малиновые вожжи, ременный кнут. Н-но, пошел! Динь-динь-динь! Черти—не кони, так и гнутся, так и выгибаются. А Гарась? А Олеку? А Польку? Их в какое место?

Сидит отец с вытянутыми руками, торопливо глотает воздух.

О. Нимподист обиженно трясет за плечо.

— Павел, уснул, что ли, ты? Проводи-ка меня. Слышишь, Павел? Проснись!

Отец смотрит на батюшку. Шарит в кармане, достает желтый пятак, сует в руку священнику. Улыбается, пугливо ворочает головой и вдруг закрывает глаза руками.

Священник стоит рядом.

На другой день нового человека понесли в церковь.

Пока сторож Илья зажигал свечи: три на купели и одну у царских дверей, дьякон, волосатый человек с двумя угрями на лбу, искал имена в святцах. О. Нимподист поводил плечами нетерпеливо, смотрел, как разгораются тонкие свечи, капая в воду. Дьякону попадались Никодимы, Исаи, Федоты, Ксенофнты. Крестный убедительно просил дать имя лучше.

— Егором запишу, хотя и вперед на неделю.

Батюшка молчал.



Крестному хотелось указать, что у них дедушку звали Егором, нельзя ли Володимиром. Дьякон рассердился.

— Не дать ли тебе Геннадия с Аркадием — дворянин какой! И Егор не плохое имя, самое народное. А спорить станешь, и Карпа съешь. Георгий Победоносец змея убил, в христианстве почитается. Не понимаешь ничего, а споришь.

Крестный обиделся, хотел что-то сказать, но крестная, баба миролюбивая, дернула за рукав его.

— Пишите Егором, о. дьякон.

Когда стали волосы стричь Егорке, крестная взяла у кума маленькую прялочку. Оторвала вошинку от свечи, закатала прялочку в шарик, подержала шарик на руке, нерешительно бросила в купель. Вошинка легонько нырнула, выплыла наружу. Крестная разочарованно посмотрела в купель, на Егорку, на батюшку с дьяконом, обиженно вздохнула.

— Жить будет.

Крестный звонко кашлянул в руку. Хотел шагнуть, чтобы посмотреть, но раздумал. Сотворил широкое крестное знамение, тихонько сказал про себя:

— История!

## УЧИТЕЛЬ СТРОЙКИН

### 1

**И**ван Петрович — человек тихий, кроткий, никому и никогда не сделавший зла — это во-первых, а во-вторых, Иван Петрович любит порядок и больше всего боится раздражения.

По утрам он встает в шесть часов сорок минут. Обычно еще с вечера он заводит чистенький светлосекий будильник, чтобы не проспять. И когда будильник начинает постукивать молоточком и торопливо сыпать частую подпрыгивающую дробь, Иван Петрович открывает глаза и очень быстро просыпается. Если ночью болела голова и мучила бессонница, — все равно просыпается быстро и смотрит хотя и усталыми, мутными, но все же спокойными, и даже очень спокойными, глазами. И в этих мутных, спокойных глазах всегда выражается одно:

„Вы видите, господа, мне трудно, но я исполняю обязанность“.

Смотрит он прежде всего на светлосекий будильник и каждый раз искренно удивляется его неизменяющей честности: — Ах ты, чорт возьми! Какая маленькая штучка, а верна как собака. Ведь и цена-то, негодяю, только рубль сорок копеек, а стучит, работает... Чу... чик-чик-чик. Гм... выдумали же эдакую оказию!..

Подивившись человеческой выдумке, Иван Петрович поребачьи прыгает с низенькой деревянной кровати, торопливо надевает кожаные ботинки с низкими каблуками, подтягивает на помочи старые суконные брюки и уходит умываться. Умывается теплой отварной водой и пальцем чистит желтые табачные зубы, очень крепкие и широкие.

— Порошку бы вот купить! — думает Иван Петрович и сам себе ласково отвечает:

— Ладно, не женщина! Плюнь на все эти порошки и никому не завидуй...

Через десять минут сторож Панкратий приносит из кухни тщательно прочищенный самоварчик тульского производства, сдувая с него насевшие угольки и пылинки. Тульский самоварчик, словно хорошенький избалованный котенок, вносит в комнату забавное оживление; и вся комната, и все вещи в ней приобретают довольный, тихий, незлобный тон.

Комната маленькая, с тремя узкими окнами, в меру нагретая, по чистоплотности похожая на девичий уголок. Каждая мелочь, даже самая нестоящая, занимает свое место, отведенное раз навсегда по ее важности. Во всем видна какая-то кротость и правильность, достигнутая годами.

Это нравится Ивану Петровичу. Сам он человек тихий, миролюбивый, никому не желающий зла.

В левом углу стоит письменный стол, прикрытый клетчатой скатертью сероватого цвета, а на столе новенькие учебники, классный журнал в синей обложке, целая горка ученических тетрадок и несколько листов чистой, неисписанной бумаги. Поодаль — металлическая чернильница, светлощекий будильник, дешевенький папирпресс и остро отточенный карандаш, синий и красный. Тут же по порядку — коробочки перьев, коробочки грифелей, два — три пузырька неопределенного назначения и зеркало толстого стекла. Напротив — другой стол, и тоже под скатертью, тоже клетчатой и сероватого цвета; здесь Иван Петрович обедает, ужинает и пьет чай по два раза в сутки: поутру и вечером. Над столом висит полинявшая фотографическая группа церковных учителей, съехавшихся десять лет тому назад в уездном городе на курсы, и архиерейская грамота с смиренным благословением учителю Стройкину за нравственность и религиозное направление.

Даже в тесном потемневшем от копоти классе, где сидят 48 мальчиков и 12 девочек, чувствуется та же правильность заведенного хода жизни. Учитель не кричит, не волнуется, не топает ногами. Только изредка постукивает граненой линейкой.

— Шуметь нельзя... Слышите? И шептаться нельзя... Кто у вас там шепчется? Я сказал, что нельзя шептаться! Ну?..

И в потемневший от копоти класс протяжно пролетает только откровенная зевота, да одиноко шаркают учительские ботинки с низкими каблуками.

— Порядок — мудрость! — говаривал учитель, многозначительно покачивая головой, и был очень доволен, что достиг мудрости.

Привычек у Ивана Петровича не много, но все они старые, давнишние, приобретенные долгим одиночеством. Самая важная из них — привычка разговаривать наедине с самим собой. Разговаривает он также с комнатной обстановкой, и вообще ведет долгие утомительные разговоры с предметами, не умеющими ни отвечать, ни слушать...

Несмотря на то, что жизнь у Ивана Петровича тихая, правильная, и сам он — человек кроткий, никогда и никому не сделавший зла, — на него по временам находит темное непонятное расстройство, внутреннее раздвоение, и тогда глаза его смотрят мертво, и все тело наливается острым, холодным испугом. Появляются мысли, появляется раздражение... Как-то вдруг неожиданно со всех сторон лезут неприятные, расстраивающие вопросы и мучат, сосут живого человека и отнимают покой и на лицо кладут недоумение... В чистенькой комнате становится и тесно, и душно, и даже горячо; все вещи в ней плывут, кувыркаются, дразнят, хохочут и ужасно шумят.

Кто-то тонкий, как змей, и слизистый, как червь, не мигая смотрит на учителя смеющимися глазами и говорит насмешливо:

— Живешь, учитель, а? Ну что? Как? Хорошо?

— Ну, и что же? — отвечает учитель. — Ну и живу... И все так живут. Станный вопрос: конечно, живу... 28 лет живу... Что же мне... мышьяку, что ли, хватить?.. Ж-и-ву...

— А зачем ты сердиться?

Иван Петрович ходит по комнате крутыми постукивающими шагами, неприятно шевелит головой, неприятно вздергивает плечи и громко разговаривает с предметами, не умеющими отвечать.

— Вот и будильник живет... Вот как работает языком! Чик-чик-чик...

Иван Петрович пристально смотрит на чистенький светлосщечий будильник и неожиданно для себя кричит с раздражением:

— Ну, и о чем же ты чиликаешь, а? О чем? Ну, замолчи!

Потом Иван Петрович пугается, дивится собственному вопросу и отходит в сторону.

— А ты, Иван Петрович, кажется, нынче начинаешь дурить? — ласково спрашивает он сам себя, — кажется, во что-то вдаешься?

И сам отвечает:

— Глупости это. А если нервы, так лучше лечь и уснуть. Ты ведь знаешь, тебе нельзя волноваться... Впрочем, как хочешь... Но по-моему, не стоит... Не нужно забывать, что у тебя дело. И ты всегда можешь получить выговор не только от отца наблюдателя, но и от того же батюшки, который, откровенно говоря, порядочный негодяй... Впрочем, как хочешь...

Стоит Иван Петрович застыдившийся, улыбающийся и держит в руках зеркало толстого стекла. Он не помнит, для чего взял зеркало, для чего держит зеркало в руках, и все так же улыбаясь, снисходительно шутит:

— Ну, поглядишь, поглядишь — хорош, что ли?..

Из стекла смотрит угреватое, некрасивое лицо с застывшими глазами и с черной щетинистой головой, а по бокам выглядывают широкие татарские уши.

— Па-а-трет... настоящий патрет... — улыбается Иван Петрович и не торопясь, очень медленно плюет на угреватое лицо в зеркале.

И все это выходит так странно, так непонятно по своей неожиданности, и нет в этом ни возмущения, ни злости. Не дрожат стиснутые губы, не вспыхивают кровинки на щеках, а в застывших глазах ни одной прыгающей искры. И только уже при виде плевка на стекле становится стыдно.

— Да ты, собственно, чем недоволен? — во второй раз спрашивает себя Иван Петрович и раздраженно стучит каблучком в половицу.

— Ну-с, милостивый государь, объясните, пожалуйста, чем вы недовольны? Жизнью? Хорошо. Итак, Иван Петрович, ты

недоволен жизнью. Почему ты ею недоволен? Ну, отвечай, почему... Может быть, служба не нравится? Прекрасно! Допустим: ты недоволен службой. Но и тут опять вопрос: почему ты недоволен службой? Нужно выставить причину. А плевать на свою физиономию и топтать ногами... нет-с, извините... нужно причину...

Иван Петрович тискает расстроенную голову, болезненно кривит стиснутые губы, словно собирается захотать или же заплакать, и не знает, чем объяснить внутреннее раздвоение и тревогу. Чувствует только, что в нем что-то поднимается, расплывается, падает куда-то на дно, и в лицо смотрит тихая, безжизненная пустота, парализующая и мысли, и слова, и движения. И кажется в этой пустоте, что есть уже только движущийся труп, покорно исполняющий чужую волю, а живого человека нет: он стоит в стороне и смотрит тусклыми, застывшими глазами, в которых медленно умирают последние отблески жизни.

И когда сторож Панкратий приходит в комнату за лампой, налить керосину, — учитель молчит; и когда приносит лампу обратно, учитель не желает разговаривать с Панкратием, как разговаривал раньше.

Учитель совершенно не интересуется Панкратием, у которого — новости. А у него всегда новости. Он собирает их по селу, делает их очень длинными, очень запутанными, а выводы нравоучительными. Это — его слабость.

В прежнее спокойное время новости рассказывались по целому часу, казались интересными и доставляли обоюдное удовольствие: учителю приятно слушать, а Панкратию рассказывать. Теперь учитель не интересуется новостями, и лицо у него строгое, необыкновенное, не такое, каким привык его видеть сторож Панкратий. Но Панкратий не уходит.

Прижался плечом к косяку, перетирает в кулаке смятую бороду и нарочно кашляет.

— Есть что-нибудь новенькое? — вяло спрашивает учитель.

— Ну расскажи!

Панкратий по привычке садится на пол и начинает не торопясь и обдуманно, прерывающимся шопотом рассказывать все, что видел и слышал, а учитель смотрит в лицо

Панкратию и неприятно шевелит головой. Видно, что он не слушает.

— Ну, ладно,— неожиданно произносит он,— уходи, Панкратий... после расскажешь, после... а теперь уходи!

Панкратий уходит. Он человек подчиненный, служит за три рубля в месяц и должен молчать, когда с ним не разговаривают. Слышно, как он стучит топором, приготавливая топливо, а учитель стоит у окна и слушает, как Панкратий стучит топором.

— Удивительный ты человек,— шепчет Иван Петрович,— ну, зачем ты делаешь бурю, а? Скажи, пожалуйста, для чего ты делаешь бурю? Не понимаю! Даже смешно... жил человек, работал, шутил, разговаривал и вдруг... мое почтение — здравствуйте, роль разыгрывает... Чудак ты эдакий, право, господин учитель... Расстройство расстройством, но... должен ведь ты выставить причину...

— Был должен, да расплатился!..— отвечает Иван Петрович.

— А теперь со мной больше не разговаривать...

— Да ты не кричи!

— А ты не суйся, куда тебя не спрашивают...

— Удивительный ты человек!

— А ты думал—не удивительный?

— Куда это ты собираешься?

Иван Петрович надевает новенькое ватное пальто, берет дубовую палку, молча уходит на дальнее поле и молча идет по кривой затертой дорожке. Раздраженно дергает плечами, помахивает дубовой палкой и сильнее кусает холодеющие губы. Он не видит, куда идет, и не знает, где остановиться, откуда повернуть обратно. Он чувствует, что ему нужно идти, но куда и зачем — безразлично. Может быть, мороз освежит голову, белые снега оторвут присосавшуюся тревогу, и сердце узнает покой и снова позовет в комнату, где тепло и тишина. Поставит Панкратий тульский самоварчик и будет рассказывать новости, а самоварчик будет шуметь. И снова учитель проникнется кротостью, войдет в нарушенную правильность и снова делается мягким, миролюбивым, никому не сделавшим зла...

С поля Иван Петрович приходит поздно вечером и, не жигая огня, садится на низенькую деревянную кровать.

Бессмысленно смотрит на протянутые ноги в шерстяных чулках, щупает острые тощие колени и решительно не может понять, для чего нужно сидеть, не зажигая огня. Не лучше ли положить голову на подушку и уснуть. Может быть, и правда, лучше положить голову и уснуть. Иногда сон успокаивает, и тело наливается свежестью.

На столе невозмутимо постукивает будильник, не вникающий в посторонние соображения, а на улице жалобно плачет собачонка.

Отчего она плачет? Скажите, ради господ бога, отчего плачет маленькая собачонка на улице? Не голодная ли? Ну, и пусть голодная... пусть околеет с голода... Странно! Что же может сделать человек на кровати, если маленькая собачонка голодная? Разве поставить самовар и напоить ее чаем? А когда напьется чаю, взять собачонку за уши и сказать, как человеку, который поймет:

„Приходи ко мне каждый день, и я буду кормить тебя,—и я буду поить тебя чаем, только, пожалуйста, не скули. Ты мешаешь мне думать. Посмотри в окно, и ты увидишь, как я сижу на кровати и думаю: а о чем — это не твое дело. Пожалуйста, не скули!“

Сидит Иван Петрович и тихонько разговаривает, а потом собирается уснуть. Закрывает глаза, подтягивает ноги и прячет голову,— но кто-то говорит:

— Выспишься еще... Давай посидим! Нет ничего ни страшного, ни удивительного, если будем сидеть, не зажигая огня... А кто если спросит, почему не ложишься,— ответим: „Не мешай!“ Посмотри: не паук ли ползет по стене? Расскажи что-нибудь пауку! Он не позволит себе рассмеяться тебе в лицо и никому не разболтает. Ну, давай, посидим...

Учитель тревожно щупает около сердца и обиженно кому-то говорит:

— Нервы... лечиться бы нужно.

Но ему никто не отвечает.

Он сидит на низенькой кровати, вытянув ноги, и исподлобья смотрит в угол. А в комнате тихо. Только на столе невозмутимо постукивает чистенький, светлощекий будильник, не вникающий в посторонние соображения, да на улице не переставая плачет маленькая собачонка...



Становится грустно, тоскливо.

И нет ни одного человека, кому бы рассказать, как тоскливо... Кажется Ивану Петровичу, что он самый одинокий, самый несчастный и ничтожный человек; и такой ничтожный среди ничтожных, что если захворает и умрет, никто не пожалеет учителя Стройкина. Пожалуй, еще насмешливо скажут:

— Ну, и слава богу!

А другие добавляют:

— Он был несчастный человек, и жизнь у него — неинтересная...

И если кто спросит через месяц, где учитель Стройкина, — все удивленно покачают головами:

— Такого учителя нет, и, наверное, не было...

— Помилуйте, как не было? Да ведь вот недавно служил в Степной Кандале? Может, вы запомнили?.. Черноватый из себя, невысокого роста... угрястый...

— Нет, не помню!

И будет так обидно и так грустно, что не помнят учителя Стройкина, который прожил на земле 28 лет, занимался в четырех приходских школах и обучал грамоте, письму и счислению 650 человек.

— Что, учитель, задумался, а? Невесело? — сочувственно говорит кто-то из темноты. — Подумай, милый человек, подумай...

А изнутри ласковый, пониженный голос:

— Мне кажется, не мешало бы тебе и уснуть... Честное слово, мне кажется, не мешало бы тебе и уснуть. Ведь поутру заниматься... Завтра не воскресенье и не царский день.

— Да, — отвечает Иван Петрович, — завтра не воскресенье и не царский день... И я бы с удовольствием уснул, но не могу уснуть... Разве я виноват, если не могу уснуть? Если у меня разболелась голова?

— Нет, ты не виноват, — во второй раз шепчет ласковый голос, — но ты должен заставить себя насильно лечь и уснуть... погоди, ты напрасно улыбаешься... Может быть, и правда, что немножечко смешно, но и необходимо. Не будешь же ты сидеть до утра? Ну, сиди! Плюнь на службу и сиди до утра! Конечно, ты расстроился, раздумался, а успокоить некому — и напала на тебя тоска. И тебе уж кажется, что один ты такой

на свете человек и есть, а все другие, прочие живут, ни о чем не думая, и ничего у них не болит, и все они счастливые... Напрасно так думаешь, ей-богу напрасно! Спроси ты любого человека, и всякий на что-нибудь да пожалуется,—потому что жизнь-то наша человеческая так устроена: чего-нибудь да не хватает в ней, чего-нибудь да и нет. И все-таки другие не топают, не плюют на свои физиономии и не топают ногами, и только ты один впадаешь в какую-то мрачность и выдумываешь бурю. Да откровенно говоря, я не знаю, отчего ты так расстроился. Даже немного странно смотреть на тебя. Еще утром шутил, разговаривал с Панкратием, что-то пел, мурлыкал себе под нос,— даже думал сходить после обеда к сапожнику Евграфу и починить носок у левого ботинка, а вернулся из школы — и начал рвать паруса. И теперь вот... Чудной!.. Люди давно спят, а он сидит, вытянув ноги, и занимается критикой...

— Посмотри, какая у тебя горячая голова! Мало ли чего мы хотим...

Сидит Иван Петрович в темноте на низенькой кровати и, побежденный своею кротостью, ласково и грустно разговаривает. И опять тихая правильность баюкает его в тишине, и сердце просит покоя. Он сидит, вытянув ноги, и засыпает, сидя, не поворачивая головы, под собственный шепчущий говор.

А поутру, когда будильник постукивает молоточком, просыпается и смотрит мутными, усталыми, но попрежнему спокойными глазами.

В восемь уходит на службу.

Вечером Панкратий рассказывает новости. Учитель слушает, как рассказывает сторож Панкратий, как на столе забавно шумит тульский самоварчик, и, довольный внутренним покоем, улыбаясь, говорит:

— Ах, дядя Панкратий. Такое бывает на свете, чего и не знаешь... Ты не сердись на меня? Вчера у меня что-то голова разболелась... Шут ее знает. Измучился за день... Не оставалось ли головешки в печи? Ты не помнишь, не оставалось ли в печи головешки?

- Нет, не оставалось... С крику это у тебя...  
— С чего-о?  
— Голова-то, говорю, с крику с ребячьего. Орут, орут...  
— Да, наверное с крику!— улыбается учитель.— Не хочешь ли чаю, Панкратий?

## 2

В ноябре месяце к кандалинскому батюшке приехали гости—соседние батюшки с женами, два отца дьякона с женами и учительница из Тюрина, девушка девятнадцати лет.

Это было в шесть часов вечера.

Иван Петрович ходил в своей чистенькой комнате и разговаривал с предметами, не умеющими отвечать. Разговаривал он о том, что батюшка поступил нехорошо, не пригласив к себе учителя, который после этого имеет основание думать, что его не уважают. Да, теперь ясно и не нужно особых доказательств: учителя Стройкина не уважают. Но ему все равно. Честное слово, ему все равно, и он решительным образом постарается об этом не думать. Он наденет сейчас волосатую шапку-папаху и отправится в поле; а поднимется раздражение— уснет. Ляжет вот на эту низенькую деревянную кровать, полежит минут пятнадцать с закрытыми глазами— и уснет. Будет мучить бессонница— поставит тульский самоварчик, а сторожа Панкратия попросит что-нибудь рассказывать... Да, он так и сделает! И ему теперь безразлично: быть или не быть в дому кандалинского батюшки. Только немножко досадно, почему он не замечал раньше, что его не уважают. А ведь его и раньше не уважали. И он теперь помнит, как его не уважали раньше... Даже маленький восьмилетний Борис, поповский сынишка, которого Иван Петрович выучил читать по букварю и писать цифры до сотни, даже и он не уважает Ивана Петровича: почему-то смеется, когда смотрит в лицо, и передразнивает товарищам движения учителя. Да, этот подлый, отвратительный курносый мальчишка не уважает своего учителя, который выучил его читать по букварю и не сделал ему решительно никакого зла...

Ходит Иван Петрович по чистенькой комнате с тремя узкими окнами и негромко разговаривает. Выражение лица у него

грустное, недовольное, но и с каким-то достоинством, с какой-то обиженной важностью. Он старается разговаривать тише, спокойнее, чтобы подавить поднимающееся раздражение и, вообще, не думать о вещах для него неприятных, но растревоженное сердце шепчет:

— Все-таки тебя не позвали,—и тебе становится грустно... Отчего тебе становится грустно?

— Да, не позвали,—отвечает Иван Петрович,—но ведь могу же я войти туда и непрошенным? Могу же я, наконец, притвориться, что ничего не знаю про гостей и завернуть на минутку по неважному, пустячному обстоятельству...

— По какому?

— Ну, вот еще—по какому. Разве нельзя выдумать?.. А ведь и серьезно: взойти и нарочно удивиться: „Ба, да у вас гости, батюшка,—здравствуйте. Вы уж извините, я только на минуточку к вам“.— „Ну, вот еще—на минуточку! — скажет батюшка,— раздевайтесь, конечно. Проходите в гостиную... Вы уж не сердитесь,—я и позабыл послать за вами, думал, что по-свойски зайдете и сами... Не в столице живем — можно и без приглашений. Проходите в гостиную... Это вот, господа, наш церковный учитель Иван Петрович Стройкин... Вы незнакомы? Садитесь, Иван Петрович... Матушка, наливай ему чаю“... — „Спасибо, батюшка, вы не беспокойтесь“...

Стоит Иван Петрович у окна и тихонько разговаривает. И представляются ему высокие поповские комнаты, шумные разговоры и длинный качающийся хохот духовных.

— Разве тебе уж такая охота итти туда?—спрашивает он сам себя.

И сам отвечает:

— Странный вопрос! Мне кажется, об этом не стоит спрашивать. Кто же отказался бы посидеть вечером на людях.

— Ну, так одевайся и ступай!

— Да, так и пойду! Ты, кажется, воображаешь, что у меня нет самолюбия? Что если я церковный учитель и живу в Степной Кандале,—так у меня совершенно нет никакого самолюбия?

— Да ты не кричи!

— Я и не кричу.

— Удивительный ты человек! И ведь опять начинаешь расстраиваться!..

В семь часов вечера пришла батюшкина кухарка и сказала, что учителя просят к батюшке в дом.

Иван Петрович посмотрел на кухарку и лицо сделал удивленное.

— Ты не знаешь, Евдокия, для чего зовет меня батюшка? Может быть, слышала, по какому это делу? А? Матушка, ты говоришь, именинница? Гости съехались... А я и не знал. Признаться, что-то нездоровится. Ты уходишь, Евдокия? Я что-то хотел еще сказать тебе... Ну, хорошо, хорошо... уходи... Скажи, что учитель придет.

В поповских комнатах было и светло, и просторно, и весело. Много ели, много пили, смеялись, двигались, шумели, говорили про образование, потом переходили на политику, с политики на епархиальные новости, потом опять на образование, — и во всем этом пестром нарядном говоре чувствовалась внутренняя улыбка, праздничное оживление и желание двигаться, толкаться, спрашивать и отвечать и высказаться перед чужими как можно умнее и красивее.

И только налимовский дьякон, человек мало разговаривающий, одиноко сидел в стороне за графинчиком, мрачно шевелил густыми бровями и многозначительно говорил: „Суета. Все — суета!“

Но это не портило общего настроения, а даже, напротив, немножечко смешило и делало снисходительным к человеческой слабости. Налимовский дьякон считался в своем благочинии элементом философствующим, со странностями, непозволительными ни его сану, ни званию. Кроме философии, дьякон любил порядочно выпить (или, как он любил выражаться — налижаться), а выпив — подурачиться, пошуметь, поозоровать, выкинуть „штуку“. На него смотрели с какой-то пренебрежительной ласковостью, с чувством покровительства и защиты, как на человека, стоящего ниже, но безвредного и даже порой забавного. „Сотворил же господь эдакого озорника... Неудачник только“...

Теперь он сидел в стороне за графинчиком и шевелил густыми бровями. Когда переставали рассуждать, и оживление на

минутку сменялось неловким, неожиданно выползающим молчанием,—кандалинская матушка садилась за пьянино и играла старые, давнишние песни, а все слушали. Вспоминали семинарию, вспоминали пропавшую молодость, бывшие семинарские попойки, длинные горячие споры, похороненные мечты, думы, настроения,— и, потревоженные музыкой, становились мягкими, грустными, тоскующими, желающими чего-то нового и неясного от своей жизни, втиснутой в службу и обязанности по маленьким и большим приходам, затерянным среди полей... А потом хвалили матушку, хвалили музыку, хвалили чистенькое, еще не разбитое пьянино, и опять шумный говор сплетался клубком, и опять было весело двигаться и рассуждать в этом всколыхнувшемся однообразии.

Иван Петрович прислушивался, присматривался, сидел за столом кроткий, улыбающийся и смотрел на всех мягкими извиняющимися глазами. Сконфуженно вытирался беленьким платочком, осторожно поворачивал стриженной головой, словно боялся что-нибудь уронить, что-нибудь задеть и расколоть и своей неучтивостью обидеть хозяина и удивить гостей. Как и все эти люди, он чувствовал внутреннюю непонятную радость, от которой хотелось также двигаться, шуметь и рассуждать, но он чувствовал еще какую-то приниженность, мешавшую ему с своей стороны шуметь и говорить,— он внутренне волновался, краснел и проклинал себя за малодушие. И в то время, когда духовные говорили про образование или заразительно хохотали, Иван Петрович вел потаенные, неслышные разговоры лично с собой. Глядя на этого кротко улыбающегося человека, никто не догадывался, как тяжело учителю, и что происходит в его недовольной душе.

— Ну и тюлень ты... Ну и чудак! — презрительно говорил он самому себе, — почему ты сидишь с поджатым хвостом и боишься захохотать так же громко, как они? Почему ты боишься что-нибудь рассказать, о чем-нибудь спросить... Да что, ты вот боишься посмотреть им в глаза. Чудак!

— Ну, ну, ну, ладно... можно, я думаю, и без выговоров! — сердится учитель и растерянно улыбается мягкими извиняющимися глазами.

После чаю он развязнее ходил по высоким поповским комнатам, укорительно, но и ласково бранил себя за малодушие и готовился высказать свои мнения... Ведь у него тоже есть мнения...

— Это даже нехорошо сидеть и молчать,— мучил его внутренний голос.— Подумают, что ты глуп. Чего же боишься? Они ведь тоже не из академии собрались сюда, такие же люди, как и ты... И нечего их стесняться...

Когда гости опять начали говорить про политику, Иван Петрович выступил вперед и, неестественно улыбаясь, обратился к самому умному священнику в голубой шелковой рясе с широкими малиновыми рукавами.

— А скажите, батюшка, что такое политика?

Все вдруг замолчали. Все обратили глаза на учителя и внимательно начали рассматривать его с ног до головы, как будто заметили только сейчас. Он стоял, пронизанный насмешливыми или недоумевающими взглядами, совершенно раздавленный неожиданным эффектом своего выступления. Налимовский дьякон посмотрел на учителя пьяными улыбающимися глазами и, поставив голос на низкую ноту, ответил красивым густым басом:

— Политика... м... это штука! Са-а-а-мая... по-ни-маете...

— Какая?— спросил кто-то, ожидая смешного ответа.

Дьякон прищурил глаз, мигнул и ответил:

— По-ли-ти-ческая!

Все захохотали. Иван Петрович стоял красный, смущенный и посматривал на всех с выражением затравленного животного.

— Извините, батюшка, я понимаю, что такое политика...— начал он.— Но мне хотелось узнать, так сказать... сущность. А ваша шутка, о дьякон,— закричал вдруг учитель, обращаясь к дьякону,— весьма оскорбительна для человека... который... видит вас в первый раз...

Разговор принимал нежелательное направление. Но тут вступился умный священник в голубой шелковой рясе, извинился, что не понял учителя, сделал ласковое замечание дьякону, подробно высказал свое мнение о политике, попутно рассказал маленький остроумный анекдот,— разговор опять принял мирное, спокойное течение.

Через час Стройкина позабыли.

Он тихонько вышел в прихожую, отыскал новенькое пальто с барашковым воротником и собрался уходить домой. Он уже не сердился ни на дьякона, ни на умного священника и чувствовал великую злобу только на себя.

— И за каким это чортом, скажи пожалуйста, сунулся с этой дьявольской политикой? Фил-ло-соф! Отправляйся лучше домой... Высказался, нечего сказать!.. Ну, чего же ты еще ждешь?..

Иван Петрович — одетый — стоял в прихожей и о чем-то думал, что-то припоминал. А потом неслышно рассмеялся, не торопясь повесил новенькое пальто на крючок, безразлично махнул рукой и опять вернулся в гостиную. Остановился в гостиной около пьянино, потрогал клавиши. Посмотрел в раскрытые ноты, и вдруг в уме его опять неожиданно вспыхнул вопрос:

— А почему ты не ушел? Ну, скажи пожалуйста, почему же ты не ушел? Бесхарактерность... Надо было уйти...

Иван Петрович разговаривал с собой, не раскрывая рта и не двигая мускулами. Но ему показалось вдруг, что он выкрикнул очень громко, — и он страшно сконфузился. Наклонил лицо над клавишами и нарочно ударил по клавишам. К счастью, никто не обратил внимания.

Мужчины что-то говорили про консисторию, женщины сидели кучкой и делились новостями, наблюдениями и интересами женской половины...

Иван Петрович подошел к учительнице из Тюрина, стоявшей у окна с гитарой, и решил вступить с ней в разговор. Рассказал ей, что у него в школе 48 мальчиков и 12 девочек... Сам он десять лет учительствует в церковном ведомстве, собирается с будущего года выписывать журнал и газету. Теперь он ничего не читает и очень жалеет, что не читает, а то бы он рассказал учительнице что-нибудь новое и интересное... Степная Кандала — село такое же, как и десятки сел. Здесь скоро все узнаешь... Надоедает, и иногда хочется чего-нибудь свежего, нового, нездешнего, не кандалинского? Правду ли он говорит? Ему хотелось бы знать, чем занимается учительница по вечерам, много ли у нее знакомых и к кому из них она ездит по праздникам. А у него нет никого знакомых среди



учительниц, и он никуда не ездит, и по целым вечерам сидит в своей комнате со сторожем Панкратием. Панкратий — смешной человек: у него красивая борода и маленькие голубые глаза. А интересно, бывает ли учительница в городе? А почему она сейчас молчит?..

Учительница попросила извинить ее: у нее болит голова. Она пойдет сейчас и попросит у матушки немного фенацетину. Наверное, это от табаку... Здесь так много курят.

Она подняла хорошенькую русую головку и отошла так спокойно, что нельзя было на нее обидеться, и нечем было остановить.

Стройкин посмотрел, как она отошла в сторону, и тихо сказал, не разевая рта и не двигая мускулами щек:

— Не везет мне сегодня... Ну, вернись, милая, поговори со мной, — я буду слушать, я буду слушать, только говори... О дьяволы!

На прощанье он подавал учительнице шубу и отыскивал калоши.

Подавая шубу, легонько дотронулся до ее плеч и бессознательно посмотрел в глаза. Глаза были большие, красивые, но горели в них негреющие смешинки и отталкивали прочь.

— До свиданья, Иван Петрович, благодарю.

Учительница подала мягкую, теплую руку.

И опять Стройкин посмотрел на девушку с красивыми глазами, и кровь ударила ему в голову, но сердце шепнуло:

— Нет, — не твоя!

Захотелось раздавить в кулаке маленькую теплую руку, чтобы хруснули и попортились пальцы.

— Какой вы странный, Иван Петрович! — улыбнулась девушка ласковой, безразличной улыбкой. — Все смотрите прямо в лицо и ничего не говорите. С вами страшно... Ох, не нужно! Позвольте... милостивый государь... Это нехорошо. Отпустите мою руку!

— Да, я страшный! И все смотрю в глаза... Ну, прощайте!

Потом Стройкин крикнул уже с крыльца, когда учительница садилась в сани:

— А я к вам в гости приеду, Надежда Степановна. Слышите?

Но ему не ответили.

Он постоял на крыльце и прислушался. Торопливо сошел вниз, торопливо добежал до саней, где сидела тюринская учительница, и, прежде чем тронулись лошади, успел шепнуть ясно и отчетливо:

— Простите меня... Я не хотел обидеть вас...

— Невежа!—так же отчетливо и ясно шепнул девичий голосок.

— Ага... невежа... ну, ладно...

Иван Петрович вдруг рассмеялся, неприлично фыркнул, не сознавая, что делает, а когда сани отъехали от двора и быстро поплыли по заснувшей улице, он больно прикусил нижнюю губу, приподнял плечи и, сгорбившись, направился к школе...

— Не-ве-жа!

А впрочем, наплевать. Разве ему не все равно? Ему только хочется дойти скорее к себе, лечь и уснуть. Уснуть и ни о чем не думать, и все позабыть... А вон скатилась звездочка — где она упала? Интересно бы узнать, где она упала, и сходить посмотреть на то место, где упала кем-то брошенная звездочка... Холодно... Если присесть вот здесь, на снегу, наверное, к утру замерзнешь. Да, невежа...

Иван Петрович заметил в стороне стоявшую на снегу собаку и ласково поманил ее к себе. Это был Полкан, старый, голодный бродяга, не имевший хозяина. Он взял ее за тощую костлявую голову, нежно погладил по голове и сказал, как человеку:

— Ты, Полкаша, очень глупый пес и ничего не понимаешь... Ежели бы ты умел разговаривать, мы бы зашли с тобой в мою комнату, и я бы тебе что-нибудь рассказал. И хотя теперь 12 часов ночи, но мы бы зашли. Сели бы на полу, затопили бы печку и начали разговаривать про... политику... Почему ты не умеешь разговаривать, а? Почему ты лижешь мои руки и ничего не говоришь?

Человек стоял на дороге и разговаривал с собакой.

И если бы кто увидел Стройкина и подслушал разговор с собакой, сказал бы:

„Наш учитель пьяный! Сегодня у батюшки были гости, и он идет оттуда навеселе“.

Придя к себе в комнату, Иван Петрович зажег керосиновую лампу и начал ходить по комнате, странно посвистывая. Ему

попалось на глаза чайное блюдечко, стоявшее на окне, он осторожно подошел к чайному блюдечку, взял его в руки, повертел, погладил и легонько бросил в угол, наблюдая падение. Блюдечко ударило в половицу, но не расколосось. Иван Петрович опять взял блюдечко с полу, опять повертел, чему-то улыбнулся и опять легонько ударил в половицу,—но чайное блюдечко опять не расколосось. Иван Петрович удивленно приподнял брови, сморщился и наступил на него каблуком. Через секунду на полу лежали мелкие раздавленные осколки.

— Вот и блюдечка не стало! — задумчиво и просто улыбнулся Иван Петрович и так же задумчиво раздавил его еще раз.

— Вот и не стало чайного блюдечка! Где оно?

Он подошел к столу и начал выбирать стоявшие на нем вещи; после некоторого колебания взял со стола зеркало и, не отдавая себе отчета, замахнулся зеркалом, чтобы разбить... А потом вдруг остановился и немножечко побледнел.

— Что ты делаешь? Господи боже, сумасшедший человек, что ты делаешь?

— Ну, это до вас не касается! — насмешливо ответил Иван Петрович и с размаху ударил зеркалом в стену.— Кажется, вас об этом не спрашивают, и прошу со мной не разговаривать...

Он потушил керосиновую лампу и присел на кровать.

Через минуту ему захотелось лечь вниз лицом и тихонько поплакать и пролежать до утра, не поднимая головы. Но плачут женщины, когда хоронят любимого мужа, первенца-сына, и женщин не осуждают, когда они плачут. А отчего бы плакать Ивану Петровичу, прослужившему 10 лет в церковном ведомстве? Разве что-нибудь случилось? Неужели что-нибудь случилось? А впрочем... Почему нельзя заплакать человеку, прослужившему десять лет в церковном ведомстве? Кто-то подлый подслушал человека в темноте, как он думает, и насмешливо шепнул:

— Плачешь оттого, что сидишь ты в шерстяных чулках и думаешь о девушке с красивыми глазами. Тебе тяжело думать о девушке и жутко сидеть в темноте. Ну, хохочи! Страшно? Ну, беги! Ого! А кто это ползает? Видишь, кто это ползет от стены? Посмотри! Перестань на минуточку дышать... Видишь? Ведь это, кажется, чайное блюдечко валяется на полу? А вон

зеркало... Посмотри, пожалуйста, вон шевелится зеркало... А в зеркале — чьи-то глаза. Господи, в зеркале чьи-то глаза. Большие, немигающие, человеческие глаза!.. Ого!

Иван Петрович приподнял плечи, сощурился, дико мотнул головой и, совсем неожиданно, по-кошачьи соскочил с низенькой деревянной кровати. А когда прошло раздражение, снова присел на кровать, пощупал около сердца и опечаленно охнул:

— Нервы, чорт возьми, нервы!.. Лечиться бы.

Но ему опять никто не ответил.

В комнате попрежнему тихо.

В окна смотрят белые снега белыми, помутившимися глазами, а на снегах качаются тени.

— Эх, Стройкин, Стройкин! господин Стройкин!

Иван Петрович закрыл лицо руками и начал задавать себе большие, серьезные вопросы:

— А что такое есть твоя жизнь, и для чего ты существуешь на свете? Ну, отвечай мне откровенно: для чего ты существуешь на свете?

И когда думал о своей жизни, оказалось, что и действительно, существует он глупо и не так, как бы ему хотелось теперь, и не так, как существуют другие. Он не знает их, кто они, эти другие, но он знает, что они есть и существуют иначе. И от сознания, что есть другие, не похожие на учителя из Степной Кандалы, прослужившего десять лет в церковном ведомстве,—от сознания, что есть другая жизнь, которой не было у Ивана Петровича,—ему становилось и грустно и тяжело, голова его горела от тысячи новых, обжигающих мыслей, и от внутреннего стыда перед самим собой, и от какой-то жалости к самому себе, что он прожил половину своей жизни и только вот сейчас, сидя в темноте на низенькой кровати, почувствовал и с ужасом ощутил, что в этой прожитой жизни чего-то не хватает — самого главного и необходимого, без чего уже нет ни смысла, ни желания вставать по утрам в 6 ч. и 40 минут и работать ежедневно с восьми до трех; только теперь понял он, что перед ним стоит еще вторая половина жизни, которую проживет так же глупо и фальшиво, как и первую. Так же в минуты внутреннего раздвоения будет безнадежно отыскивать чего-то в себе и в других,—и ничего не найдет, ничего не

увидит, кроме тишины и правильности; расстроится, расхворается, измучится, и с обиженной покорностью снова войдет в состояние безразличного отношения и к тому, что есть в нем, и к тому, что вокруг него...

На одну минуточку в голову учителя лез откуда-то странный, уничтожающий вопрос: стоит ли ему существовать дальше? В душе его происходила та сложная, лихорадочная работа, когда человек с удивительной искренностью чувствует и сознается самому себе, что он, вместо здания, строил игрушечный домик, и теперь вся эта работа кажется ложной, бессмысленной, не нужной ни себе ни другим. Но наравне с этим — человек ощущает и необыкновенно сильный прилив желания жить, не объясняя пока самому себе, для чего и зачем и как он будет жить. Он не видит впереди себя новой работы и не знает, какова будет эта новая работа и сумеет ли он ее сработать, и хватит ли у него силы оторваться от прежних, всосавшихся в него привычек, он не знает этого, но каждая кровинка, каждый нерв настойчиво колотят в голову и жалобно просят жизни, хотя бы даже и опять-таки той жизни, над которой думаешь с таким недоумением, с болью и отвращением.

Иван Петрович сидел на низенькой деревянной кровати и с поразительной ясностью чувствовал, что он внутренне раскололся на две половинки, и каждая из них живет самостоятельно, работает отдельно, смотрит на все особыми глазами и рассуждает по-своему. И обе они ласково утешают его, ласково успокаивают, как новое третье существо между ними. Он слышал их шорохи, их борьбу, даже видел их лица, но нисколько не удивлялся ни тому, что они были в нем, ни тому, что они говорили ему. Ему казалось странным только одно: неужели он все-таки должен своими руками раздавить и уничтожить весь этот тихий, правильный порядок жизни, на который положено столько стараний, усилий, маленьких ежедневных хлопот, — и уйти из него. Но куда уйти? Господи, куда уйти из него?

Ведь он прирос к нему органически, спаялся с ним теми бесчисленными, невидимыми нитями, оборвать которые — значит вышибить из-под ног ту почву, на которой держался столько лет. Да нужно ли кому это разрушение, и что будет с ним, когда он сделает это? Да и что такое, наконец, случилось, что

жизнь повернулась к нему другой стороной, и он читает над собой похоронные молитвы?.. С чего все это началось?.. Где и в чем искать начало всех несчастий, всех оскорблений и неожиданно появляющейся внутренней ломки, причиняющей острую, физическую боль?.. Откуда приходит это страшное, что заглядывает в душу, выкидывает ее из состояния покоя, мучит и сосет живого человека... Посмотреть на жизнь — ничего особенного... Жизнь — как жизнь. Живет, работает и очень старательно, очень добросовестно, никого не обидел, никому не сделал зла и всех уважает... Уважает даже батюшкину Пальму, хотя она и дрянная, противная, заживевшая собачонка, но все-таки уважает; правда, ему хочется завести Пальму в темное место и в темном месте переломать ей тонкие, точеные ноги, но на это не хватает ни смелости, ни отчаянности, потому что хозяйин ее — батюшка...

И Стройкин уважает Пальму...

— Эх, Стройкин, Стройкин! — шепчет Иван Петрович плачущим голосом. — Подлый ты человек, и никакого в тебе самолюбия.

Он прилег головой на подушку, тихо скрипнул зубами, а минуты через две снова поднял голову, вскочил с кровати и начал ходить по комнате. И казалось, что он не ходит, а бесшумно ползает, осторожно крадется и собирается кого-то схватить, кого-то поймать... Руки его были вытянуты вперед, движенья кошачьи, а в глазах — безумие и ненависть... Ночь звенела в ушах колокольчиками, и человек в шерстяных чулках бродил по комнате, жуткий и одинокий... Заметив в углу переломившуюся тень, он стал ее ловить, нащупывать руками, а потом посмотрел долгим, пристальным взглядом и криво усмехнулся.

— Я знаю, ты не умеешь разговаривать и никому не расскажешь... Ты не умеешь смотреть — и ничего не увидишь... Ну, наблюдай!

Он повернулся в сторону, — потянулось за ним и косматое пятно. Присел на полу, — и пятно прижалось у него за плечом.

— Ну, давай танцевать... Слышишь, дьявол ты эдакий, давай танцевать...

Стройкин поднял левую ногу, оттопырил руки, чтобы сделать полукруг, — но тут в сознание его вникла острая, скрывающаяся

от других мысль, что он мертвый... И что ходит сейчас, кричит, мучится, чувствует ужас не он, а другой, новый, незнакомый ему человек. А он мертвый, и вместо головы у него — пустой череп, и вместо глаз — пустота... Оттого он и не видит этого другого, который живет в его комнате... Да, он — мертвый! И в теле у него нет крови, и сердце его потеряло гнев и не может ненавидеть...

Иван Петрович ударил кулаком в стену и неистово крикнул:  
— Па-анкра-тий!

Прошла минуточка.

Только одна минуточка.

И была она такая длинная и страшно томительная.

И одна коротенькая минуточка открыла черную, безнадежную пустоту,—где ни звуков, ни движения, ни тихого шороха. Только слабо стучало перепуганное сердце, да мелко дрожали похолодевшие ноги.

— Па-анкра-тий!

Пришел Панкратий с заспанным, недовольным лицом и начал рассказывать:

— Сон сейчас какой видел, а ты кричишь... Плаваю бытта бы на реке, а голова у меня рыба. Потом обернулся в дикую утку и полетел. Ну, што?..

Учитель молча смотрел широкими блуждающими глазами.

— Иван Петрович, ты што меня звал?

— Кто, я? Я тебя звал? да, да, погоди. Я тебя звал — я ничего... давай посидим со мной...

— Али бессонница?

Иван Петрович наклонил голову и тихо ответил:

— Да, Панкратий,—не спится... давай посидим!

Сторож присел на полу около двери, ноги сложил под себя и тоже ответил, и тоже тихо, смягченный теплотой и участием, подступившими к самому сердцу:

— Думаешь, наверное... Я тоже не сплю, когда думаю. Позвольте папирочку!..

Закурили папиросы.

Оба смотрели, как падают и тухнут табачные искры, близко заглядывали друг другу в лицо, оба тихонько вздыхали, а Панкратий рассказывал:

— Сны разные бывают, и нужно им верить... Я тебе такой случай расскажу... Желаешь? Ну, вот. Вижу сон. Давно это было, а какого числа и месяца — не помню. Знаю только — зимой, и прошло с тех пор годов восемь, а можа и девять... Я не считал и не помню, можа и одиннадцать. Ну, вот. Вылетел у меня коренной зуб из левой десны — ладно. И не болел, думаю себе — с чего бы так? Сунул я в рот-та палец мизинец, — щупаю. Щупаю эдак, ковыряю, а зубы-то у меня... слышишь, зубы-то у меня — раз-раз-раз... и посыпались... А потом ударила кровь... Ну, и так ударила, скажу я тебе, не приведи злему татарину... Через неделю несчастье: лошадь околела... Сны разные бывают!..

Стройкин сидел и слушал, и ничего не понимал.

Ему казалось, что он теперь — и не Стройкин, и не учитель, прослуживший десять лет в церковном ведомстве, а маленький длинноухий заяц.

Бежит этот маленький длинноухий заяц по кочкам, отчаянно прыгает по овражкам, выворачивая круглые помутившиеся глаза, а впереди и позади злые тонконогие собаки, — и сейчас разорвут.

А кто-то кричит:

— Эй, эй, косою, куда прячешься? Все равно не убежишь... Держи-и!

Но кто это кричит? Погоди... кому это охота кричать?

А голос знакомый...

— Ах, да ведь это Панкратий рассказывает... Сторож Панкратий... Панкратий Степаныч... Какая у него некрасивая борода! О чем он рассказывает?..

Утром не было занятий.

И когда в школу прибежали 48 мальчиков и 12 девочек, сторож Панкратий сказал им:

— Отправляйтесь назад!.. Учитель хворает...

— Чем? — полюбопытствовал маленький, веснущатый Михаил.

— Чем? Ну, это не твое дело... отправляйтесь назад...

Иван Петрович сидел у стола в нижнем белье и медленно покачивал стриженной головой. Перед ним стояла водка. Иван Петрович пьянствовал первый раз за все свои 28 лет, и было ему так грустно, так страшно, что он пьянствует, — и по щекам



у него текли слезы. И если бы кто спросил, почему учитель пьянствует, он не сумел бы ответить и только бы указал на грудь:

„Вот — здесь... Отвяжись и не спрашивай!“

И, покачивая стриженной головой, он думал о жизни, — и жизнь стояла перед ним робкая, приниженная, как провинившийся щенок. У Ивана Петровича прыгало сердце, поднималась темная разрывающая обида, — и хотелось ущипнуть, ударить и еще более принизить робкую приниженную жизнь. Он выпивал маленькие рюмочки и тихонько разговаривал:

— Э-э-хо-хо-хо, Ваня, Ваня... Господин учитель Иван Петрович, — несчастный человек, — для чего ты существуешь на свете?

Внутренний голос шептал:

— Думаешь, милый, а? не весело? Думай, думай!

Другой внутренний голос спрашивал:

— Что ты делаешь? Безумный человек, что ты делаешь над собой?

А Панкратий плевал себе под ноги и сочувственно успокаивал учителя, у которого по щекам текли крупные, теплые слезы.

— Жениться бы тебе, Иван Петрович, — лучше! С бабешкой ты свет увидишь, и тоски меньше... Хорошо-о! К примеру скажем, ты и женишься... Слушаешь?

Стройкин прожил 28 лет, и не любила его ни одна женщина, и не знает он, как любят женщины. И теперь, запрокинув голову, он сидел с закрытыми глазами и думал о женщине... Представлял ее нежную, горячую, с тонкими змеиными движениями, и сердце шептало:

— Поласкай! Милая, поласкай хоть коротенький миг...

Панкратий рассказывал. А потом пели песни. Сидели рядом и пели.

На стене висела старая скрипка, и не было на ней ни одной струны.

Учитель снял со стены старую скрипку, положил скрипку на колени и начал ударять по корпусу пальцем, высчитывая удары. А Панкратий низким голосом пел крестьянскую песню про одну девчонку: как ее обманули, а она ходила по лугам и плакала, и собиралась умереть.

И когда Панкратий пел крестьянскую песню, Иван Петрович держал на коленях старую скрипку, ударял по корпусу пальцем и, не торопясь, говорил:

— Время девять часов с половиной... Ты видишь, Панкратий, время девять часов с половиной...

Панкратий поднимал голову.

— Да-а, девять часов с половиной... Наплевать...

— Нет, погоди... Мне становится грустно, и хочется поговорить... Господи, как мне хочется поговорить... Слышишь, Панкратий... Ну, сиди, голубчик, смирно и не улыбайся, а я буду рассказывать... Вот видишь ли? Время девять часов с половиной... В девять часов с половиной я начинал вчера урок по счислению, а с младшими читал по букварю...

С младшими учениками читал про какого-то волка, а у старших шел урок по счислению... В девять часов с половиной Иван Петрович ходил по классу с линейкой в руках, постукивал линейкой и читал про волка... И хорошо было ходить в тишине, где царит порядок, и хорошо было слушать, как восьмилетний народ читает про волка... А потом Иван Петрович им что-то говорил, а они сидели рядом и слушали. Он не помнит, что говорил, ведь он много говорил! Десять лет говорил, каждый день с восьми до трех, кроме праздников, — разве можно помнить, что он говорил вчера? А теперь господин учитель пьянствует. Сидит в рубашке без пояса и пьет водку, а на коленях у него старая скрипка. Удивительно! Вчера в девять часов с половиной читал про волка, а сегодня поет песни с Панкратием... и на душе у Ивана Петровича грустно. Господи, как грустно у него на душе!.. Как тяжело у него на душе! Ха! Непонятно?

— Ну, давай выпьем, Панкратий! Я буду рассказывать, а ты слушай! Понимаешь? Я буду рассказывать, а ты сиди и не мешай... А засмеешься — ударю. Ха, боишься! Ну, погоди! Что такое старая скрипка и человек, разговаривающий с Панкратием? Панкратий, что такое старая скрипка и человек, который занимался вчера по счислению?.. Не знаешь? Ну, давай выпьем! Погоди, Панкратий, слушай... Что такое политика? Хо! Отвечай мне, ради господи, что такое политика?

— Я не знаю, Иван Петрович; уснул бы ты лучше...

— Хорошо, я могу и уснуть,—но ты должен сидеть и слушать. Я тебе скажу, что такое старая скрипка, но ты не поймешь... Ты совершенно ничего не поймешь... Ах, Панкратий, Панкратий... дядя Панкратий, ведь ты не поймешь... И мне очень жалко, и мне очень досадно, что ты не поймешь... Ну, погоди... Ты смеешься, Панкратий? Ах, да... ну, виноват... и тебе грустно. Неужели и тебе грустно? Неужели и тебе бывает грустно? Ну, налей мне еще одну маленькую рюмочку... А ты знаешь учительницу из Тюрина?

— Учительницу-у?

— Да, да, да... учительницу из Тюрина...

— Это которая у батюшки-то была?

— Ну, да не все ли равно тебе: была ли, не была ли...

Учительница из Тюрина. Знаешь?

— Знаю.

— Красивая ведь, а?

— Тоненькая больно...

— Да, да... тоненькая... и глаза у нее светлые, как у ящерицы... Ты бы... женился на ней?

— Ха, плохо ли!

— Не смейся... Панкратий, не смейся!

— Лег бы ты, Иван Петрович!

— Хорошо, я лягу. Спасибо, Панкратий, я сейчас лягу. Мне опять становится грустно... Но только ты не смейся...

Учитель сидел и разговаривал, и голос у него был жалобный, тихий, и глаза светились печалью, а Панкратий слушал и с сожалением думал:

— Какой пить-то слабый! Живо опрокинула!

На столе стоял чистенький светлощекий будильник и утвердительно говорил:

— Да, все это верно! Что рассказывает господин учитель Стройкин,—верно. И кто слушает учителя, должен учителю верить...

### 3

В час дня пришел батюшка, о. Александр, чтобы рассказать ученикам историю про Иоанна Крестителя. Батюшка прошел в школу и очень удивился, не найдя там никого. Потемневший с шестью окнами класс стоял пустой, брошенный, и

грустно становилось в его безжизненной пустоте. Всюду был беспорядок, которого не было раньше. Одна парта лежала на боку, остальные сдвинуты в угол, покрытые пылью. На полу валялся расколотый мел, рассыпанные кубики и подсолнечная шелуха.

Батюшка слышал, как постукивают его новенькие шагреневые сапоги и шумит длинная одежда. Он прошел раза два из угла в угол, поднял с полу несколько кубиков и повертел на руке. Потом опять бросил кубики на пол, постоял, подумал и, не торопясь, направился к учителю.

В дверях его встретил Панкратий и попросил благословения. Низко наклонил мокрую нечесаную голову, руки протянул вперед,—но не удержал расслабленное тело и неловко пырнул батюшку мокрой нечесаной головой.

— Это еще что за китайское приветствие? — улыбнулся о. Александр. А потом строго спросил:

— Пьяный? Ну, сознайся — пьяный?

— Выпимши, батюшка, извините... немножко выпил...

— И учитель пьяный? Да ну, говори же... девушки — застыдились!..

Панкратий стоял в стороне растерянный, смущенный, и видно было, как ему тяжело, и он не знает, что ответить священнику.

— Много выпили? — спросил батюшка, не глядя на сторожа и что-то соображая.

— Две полубутылки, чай, выпили... разве это много? — И Панкратий улыбнулся широкой откровенной улыбкой, а глаза его сощурились.

— Что это вы вздумали кутить сегодня, а? Не говорил он тебе ничего?

— Нет, не говорил.

— Неужели молча сидели?

— Зачем молча — калякали.

— О чем? Да ну, говори же! Что я тебя съем, что ли?

— Да все про учительницу спрашивал меня... Про тюринскую учительницу... Которая у вас-то была вчера...

— Ага, ну ладно... я не об этом, — улыбнулся батюшка и что-то припомнил. — Вот что, Панкратий... ты не говори ему,

что я был здесь... Слышишь? Твое дело постороннее... Где он сейчас? Спит?

Батюшка приоткрыл дверь и заглянул в комнату.

Иван Петрович лежал на полу вверх лицом, прикрытый одеялом, и руки его были сложены на груди, как у мертвого. На посиневшем лице застыла больная, недоумевающая улыбка, а между бровей залегла толстая припухшая морщина.

Иван Петрович спал, и в голове его путались кошмарные виденья.

Вечер. Сидит он в своей чистенькой, нагретой комнате и проверяет ученические тетради. Кто-то стучится в комнату тихо и осторожно.—Стук... стук...

— Войдите, кто там?—спрашивает учитель и идет отворить дверь.

— Пожалуйте!

Входит женщина, и лицо у нее закрыто,—не видать лица.

— Здравствуйте, Иван Петрович!

— Здравствуйте... что вам угодно?

— Вы не узнаете? Я — тюринская учительница... — ласково говорит женщина, не открывая лица. — Помните?

— Нет, не помню! — пренебрежительно отвечает учитель.

— Помните, в ноябре месяце, в 12 часов ночи, у батюшки?

— Нет, не помню!..

— Вы на меня сердитесь, да? Я вас обидела. О, я гадкая... простите меня, я очень гадкая... простите меня!..

— Нет, я не помню, и не сержусь, и не знаю тюринской учительницы. Позвольте спросить, что вам угодно здесь? — пренебрежительно спрашивает учитель.

— Иван Петрович... милый, славный мой Иван Петрович. Вы на меня сердитесь... Ну, скажите откровенно, сердитесь? Вам тяжело?

— Зачем вы пришли? — раздраженно кричит учитель. — Чего вы еще хотите от меня?

— Вам тяжело, и я пришла к вам... я люблю вас...

— Да, мне тяжело... — уже задумчиво говорит учитель, всматриваясь в девушку.

— Ну, простите меня...

— Не прощу!..

— Ну, прощайте!

Девушка уходит.

Учитель смотрит, как она уходит, и вдруг бежит за ней и хватается за руки.

— Может быть, ты вернешься?

— Зачем? — спрашивает девушка, не поворачивая головы.

— Может быть, ты вернешься, — ведь мне так тяжело... Господи, как мне тяжело!..

— Зачем же ты меня гонишь? Я пришла к тебе, а ты гонишь...

— Я не поверил тебе... я подумал, что ты смеешься... У меня некрасивое лицо, и я подумал, что ты смеешься...

— Да, верно, у тебя некрасивое лицо, но славное сердце, и я люблю тебя...

— Я не знаю, какое у меня сердце... Честное слово, я не знаю, какое у меня сердце. Но у меня некрасивое лицо...

— А ты поцелуешь меня? — спрашивает девушка, не открывая лица.

— Да, я поцелую тебя... Ведь у тебя, кажется, светлые глаза, как у ящерицы. Я поцелую тебя.. Почему ты не открываешь лицо?

Иван Петрович берет девушку на руки, уносит в комнату и сажает на кровать.

— Неужели ты любишь меня? Ну, посиди, а я пойду потушу огонь... Ты не боишься?

— Нет, не боюсь...

— Ну, посиди, а я потушу огонь...

Через минуту он подходит к кровати и в темноте осторожно шепчет:

— Милая, здесь?

Молчит.

— Ах, зачем ты шутишь?

Он начинает щупать руками, нервно улыбается, и вдруг, побледневший, в ужасе отскакивает, дергая головой.

На кровати сидит батюшкина Пальма, вытянула узенькую морду и испуганно виляет хвостом.

— Это ты? — спрашивает Иван Петрович в изумлении. И Пальма отвечает Ивану Петровичу:

— Да, это я.

На другой день учитель опять не ходил в школу. Занятий не было целую неделю. Целую неделю он пролежал на низенькой деревянной кровати и находился в горячечном бреду. Все просил Панкратия, чтобы выгнал желтую собачонку, которая сидит на постели и не мигая смотрит в глаза.

А когда выздоровел, сделался угрюмым, раздражительным и решительно ни с кем не говорил о своей болезни.

— Что это вы, Иван Петрович... целую неделю... не тиф ли? — насмешливо спрашивал батюшка, увидя учителя в школе.

— Лихорадило немного! — неохотно буркнул учитель и подозрительно посмотрел в лицо священнику.

Батюшка сделал вид, что ничего не знает.

## ПРЕСТУПНИКИ

### 1

Вечером привезли их в Михайловскую волость. Торопливо провели по широкому правленскому коридору, в темноте потолкали в бревенчатую клоповку. Все четверо вошли они боком, удивительно кроткие, послушные, как дети. Никто не уперся в косяках, не повернулся грудью. Спокойное, равнодушное лежало на дымчатых лицах, делало безучастными. Короткие, туго подтянутые полушубки, пестрые шерстяные кушаки, потертые голички на руках. Можно подумать, что зазябшие бородатые мужики едут в губернский город с извозом. Везут на ярмарку чьи-то товары, на полчаса завернули покормить лошадей. Подадут артельный нечищенный самовар им, большой курносый чайник. На столе появятся домашние ситники, замороженная баранина, тоненькая синяя полубутылка. Потекут шуточные разговоры про овес, про сено, про губернскую ярмарку, про купца, которому везут товары. В избе будет пахнуть отогревшейся бараниной, просыхающими полушубками, развешенными на печи онучами, а на дворе — постукивать колокольчики, всхрапывать, топтаться на снегу проголодавшиеся лошади...

Когда в „клоповку“ нырнул самый последний, глухо звякнула железная накладка, огромный замок щелкнул пружиной. Жалобно поплыл сорванный звук, плачущей дорожкой протянулся в сторону. Громко стукнули правленские двери. Кто-то пробежал по снегу, кто-то подъехал к крыльцу с погребушками — в тюрьме стало невесело. Узкая, тесная, с почерневшими стенами стояла она на дворе. В левом углу — кирпичная печь с провалившейся трубой, в правом — низкие мусульманские



нары. На полу давнишняя нечищенная грязь, колотый кирпич, трепанная рогожа, сноп ржаной соломы. В стене квадратное оконце, крепко стянутое железным переплетом. Осенью, когда идут дожди, в тюрьме тяжело. По оконцу плывут серые холодные капли, стены сыреют, печь остается нетопленной. Арестанты лежат на нарах вниз лицами, не разговаривают. Кто-нибудь из веселых вздумает пошутить:

— Эй, народ, сюда! Зверя поймал.

Шутка не веселит. Добродушный мужик с веселым характером смотрит на товарищей и вдруг ложится сам, поддаваясь общему настроению.

— Спать надо.

Вечером заключенные Христом-богом просят правленского сторожа принести немножко водки.

— Эй, дядя! Сторож! Господин сторож, золотой человек! Нельзя ли нам как-нибудь полтинник пропить? Выручи, господин сторож!..

Пили, не зажигая огня. Делались мягче, шутили, смеялись.

В тихие, ясные ночи к квадратному оконцу подходил то скующий месяц, косым уголком заглядывал в тюремную темноту. Раскидывал золотые ниточки, прокладывал светлые косые дорожки, зажигал огни. Молодые арестанты буйно и шутя ломали дощатую дверь, выворачивали железный переплет в оконце, уходили. Опять их вели на волостной двор — опять уходили. Смелых озорников везли к становому приставу, от пристава — в уездную тюрьму, где стены каменные, переплеты прочные, у ворот на углах часовые.

## 2

Никто из четверых бежать не собирался. Сидели на нарах, на полу, молча, с сухо горевшими глазами. Словно на молитве уронили волосатые головы. В уголке дедушка Калистрат. Как вошел со двора, покрестился мысленно на церковь господню, неслышно присел в уголок. Старый, вековой человек дедушка Калистрат, восьмой десяток доживает. Когда был помоложе, два раза ходил в город наниматься на должность, два раза чувствовал себя огорченным, обиженным городскими неудачами. Потом торговал по деревне яблоками, подсолнечными

семенами, камышинскими арбузами, астраханской воблой. Изю всех сил старался разбогатеть, открыть бакалейную лавочку, торговать по-божьи, по-совести.

Теперь прошла молодая горячка, не волнует и бакалейная лавочка. Засевает немного ржи, проса, овсеца, горошку. По ночам, когда болят кости, думает о смерти. Треплет время износившиеся силы, а могила страшна. Привык старый ходить по земле, слушать звон колокольный, да пение птичье, да говор человеческий. Лечь в могилу — нет. Пусть господь накажет за грешные желанья, а в могилу ложиться не хочется.

В Кочкарной у него такая же старая подружка многолетней жизни, да недавно захромавшая лошадь, да две белых овечки. Корову Зорьку с молодой яркой увел господин волостной старшина Зосима Потапыч. Говорит — за подушные. Жалко стало Калистрату тонкоголовую Зорьку. Позабыл, что ему семьдесят четыре года — не вытерпело сердце.

— А вот и не отдам Зорьку! Хоть в угол жми!

— А мы уведем.

— А бог-то?

— Тут человеческое дело, не божье.

Когда стражники взяли Зорьку за рога, бабушка Степаниха потерянной птицей кружилась по двору, плакала навзрыд. Опять позабыл Калистрат, что ему семьдесят четыре года, не сдержался.

— Лопнешь, Зосима!

На другой день увезли в Михайловскую волость и еще троих: Микешу, дядю Оню и дядю Акишу. Сотник сказывал дорогой — посадят на высидку. Не было у Калистрата обиды на людей, глаза горели тихо, как в сумраке догорающие лампы. Болью мучило старое изношенное тело, делало безучастным и к тонкоголовой Зорьке и к тюремной темноте. Не было желанья разбираться, почему попал в тюрьму, и кто больше виноват: он ли сам, или Зосима, или третье, незнакомое ему лицо, всю жизнь делающее только пакости. Не видит, не знает, но чувствует, — третье лицо есть. Сидит Калистрат, беззвучно шевеля губами. Не хочется думать, не хочется сердиться. Сердце просит молитвы, а из-за стены слышно:

будто плачет бабушка Степаниха, рывкает Зорька. Молоденькая ярка стучит по голове черным копытцем, словно черным дубовым подошком.

## 3

Рядом — дядя Оня.

Голова у него кажется огромной, по стене от нее плавают крупная, жирная тень. Сидит погнувшись, страшно беспокоительный. То встанет, то упадет на нары, опять встанет. Походит по углам, постучит зубами, остановится у квадратного оконца. Упадет лицом на железный переплет, горит глазами, словно сумасшедший. Смотрит во двор, в черную правленскую стену. Мучают хозяйские думы, в которых путается тридцать пятый год. Не оскорбляют его ни тюремная грязь, ни ползающие паразиты, ни старшина Зосима, заперший на замок. К этому Оня привык, давно начал понимать: грязь, паразиты, старшина Зосима и волостная тюрьма — неизбежное. Если бы не хозяйские думы, подвалившие к сердцу, он бы сейчас растянулся на этих вот нарах и с удовольствием просидел на волостном дворе целую неделю. Для него все равно: лежать ли здесь, лежать ли дома. Здесь грязь, и дома не лучше. Но теперь Оня не уснет: думы мучают.

Утром баба поедет за водой на озеро, а лошаденка будет топыриться, скользить передними ногами. Непременно кувырнет бочку и очень просто — оборвет хомутину, сломает оглоблю. Новая хомутина стоит сорок копеек. За оглоблей нужно ехать в казенный березняк, а в казенном березняке обязательно поймают казенные сторожа, оштрафуют на три целковых. А если не оштрафуют, вызовут к земскому начальнику, опять будут судить. А пока баба наливает бочку воды, в печи пригорят хлебы, мука девяносто копеек за пуд.

Везде несчастья, огорчения, и вся жизнь у Они, как длинная грубая холстина, сотканная из несчастий.

Ни одного яркого рисунка, ни одной светлой ниточки. Баба каждый год приносит по ребенку. Оня обязан кормить его, потому что отец. Сердится он и на детей и на женину плодovitость. Зимой сердится на морозы, летом — на дожди: от морозов хворают ребятишки, от дождей гниют ржаные снопы.

Недовольный человек дядя Оня: ни женой, ни жизнью, ни лошадыю, ни существующими на свете порядками. Дети у него не умирают, лошадь не жеребится, ударишь — лягается. Земля почему-то достается песчаная, с овражками, с промоинами, непременно в дальнем поле или около дорог, где на сажень заезжают телегами. На скотину тоже талана нет. Заведется жеребенок, овчишки скопятся, остроглазая телушка норовит короной быть. Оня, по слабости, начинает мечтать. А тут возьмет да все и провалится сквозь землю и оставит Оню с одними ребятишками; то голодный волк невзначай натолкнется на жеребенка, то старшина Зосима подметет — и овчишек, и остроглазую телушку. А баба родит, родит, родит и, наверное, будет родить еще лет пятнадцать. Зачем господь сотворил такую подлую бабу? Для чего дал ей такое чрево?

Пьянствует Оня с горя, пропивает дорогие рабочие дни, жалуется, тоскует, безжалостно бьет ребятишек по ногам, по голове, около ушей. После сажает на колени, ласково целует, стыдится заплакать вслух, чтобы не посмеялись над отцовскими слезами. Нежностью перепалнивается хмельное сердце у Они, душевным примиреньем. Допрашивает бабу:

— Почему господские бабы не родят, а ты словно пироги печешь?

— Как это не родят?

— Меньше. А у нас что ни год, то крестины. Нашла удовольствие.

Катерине обидно.

— Я виновата? Мое дело женское — плачешь, да родишь.

— А почему господа?

— Можя, господа-то средство пьют.

— И ты пей. Разве я запрещаю тебе? Возьми да и пей.

— Достань.

— Эка выдумала куда! Еще я не пачкался тут.

Стоит Оня у квадратного оконца, тоскливо посматривает в железный переплет. Ничего не видит.

## 4

На нарах Акиша. Рассказывает про своего мальчонку. Голос тихий, шепчущий, голова положена на плечо. Акиша

мужик верующий. Каждый праздник по зимам ходит в церковь, покупает трехкопеечную свечку, ставит любимому угоднику Николаю Мирликийскому. Сам становится недалеко от правого клироса, подпеваает певчим жиденькой фистулой. Тихо кружит около подсвечников, тушит восковые огарки, поправляет фитили в лампадах, соскабливает пятнышки с икон, следит за церковным благообразием. Поймает шатающегося мальчишку, проколет ногтем ему тоненькое ухо, и опять подпеваает певчим.

Когда в сердце улеглось раздражение, Акише захотелось говорить. Если будут слушать, ему сделается легче. Наговорится, нашепчется и, не раздеваясь, уснет. Во сне увидит церковь, старенькие подсвечники, строгое лицо Николая Мирликийского — будет легче.

— Мальчонка у меня захворал — не умер бы. Собирался в больницу, а тут Зосима.

— У меня не умирает. Возьми одного, — сердится Оня и ненавистно плюет в оконце.

— Ты что, Акимушка, супротивничал тоже? — любопытствует Калистрат.

— Знамо, супротивничал. Подлецом обозвал. Уж так тому греху быть.

— Греху! — морщится Оня. — У меня вон лошадь теперь, чай, стены нюхает али бы звезды глотает. Подавится дьявол! У нас — все греху.

Хочет Оня выкинуть из себя накопившуюся тяжесть и не может, потому что не может понять. Давит кто-то, тискает голову, а кто — не поймешь. То навалится жирный краснощекий старшина Зосима, душит короткими пальцами, давит под самую грудь новыми опойковыми сапогами. То жена Катерина. Вцепятся ребятишки, насмешливо щелкают по вискам, по носу, норовят укусить до крови, как молодые щенки. Не в силах Оня отыскать злейшего врага своей жизни, и вся ненависть перегорает внутри, обрушивается на самого себя.

Акиша на нарах рассказывает про монастырь, про белые каменные колокольни, монастырские колокола и жирные опоясанные свечи. Незаметно переходит на своего мальчонку, с умилением описывает свою любовь к нему. От Акиши отдает

внутренним теплом, благообразием—это не нравится Оне. Странное желание появляется у него: подойти и ударить Акишу по затылку, чтобы щелкнули зубы. Растет желание, мутит голову — нет силы подавить острую, непонятную злость. Несколько минут смотрит на Акишины плечи, надвигающуюся голову, насмешливо кричит:

— Апостол ты, Аким! А сделай тебя церковным старостой — продашь всех угодников. Есть, что ли, табак?

Акиша не сердится, подает табаку. Раздражает кротость затравленного сердце у Оне, кажется подозрительной. Хочется, чтобы Акиша полез с кулаками.

— Христосик ты, Аким! Говоришь про божественное, а по ночам с бабой спишь.

Опять Акиша не сердится, рассказывает про монастырь. Удивительное дело. Почему он не сердится?

— Нестоющий ты человек, Аким, ненастоящий! Не люблю я эдаких. Негодный ты человек!

Акиша смотрит укорительно.

— Ты что пристал? Или на хвост наступили тебе?

— Не знай, кто кому наступил.

— То-то смотри.

— Чего смотри? Ну, ударь. На вот, ударь!

— Да ты что на самом деле. Вот пес!

— Как, я — пес? Слышите: я — пес? За это слово я тебе такую Матрену посажу, негодный ты человек, — никому не пожалуешься.

— Али лошадь украдешь?

— Что? Никифор, будь свидетель!

Оня визжит, чувствует величайшее удовлетворение: отыскал, нащупал врага, которому можно отплатить за все огорчения, причиненные и старшиной Зосимой, и беременной бабой, и всеми существующими на свете порядками.

— Вот тебе лошадь!

Взмахнул отчаянно маленьким шершавым кулаком — ударить не дали. А когда улеглось раздраженье, Оня почувствовал великую тоску. Поступил он не так, не по совести, обидел ни за что. Стало тяжело, совестно, захотелось уснуть. Посмотрел вокруг кроткими потухшими глазами, заметил в углу старого

Калистрата, вспомнил: сидит на волостном дворе. Не говоря, повалился на нары.

Стало тихо. Калистрат в уголке, словно чужой захожий странник, читает церковные молитвы. Чувствующая страдающая жизнь, которой прожил семьдесят четыре года, как-то сразу выкинула его из своей глубины. Плывет он по поверхности, как ненужное бревно, и ничего не видит, кроме смерти. Акиша, уронив голову, протяжно вздыхает грудью.

Рядом с Калистратом молодой курносый Микеша потелячи жует соломинку. Борода жиденьякая, треплая, голос ребячий.

Микеша — мечтатель.

У него собственный уголок жизни, сытый, цветной, человеку в нем беспечально. Сказка это. Если бы Микеша был ученый, писал бы книжки про богатую землю, про пшеницу, сытых породистых лошадей, про большие амбары под жестью и про всякую рыбу, живущую в морях и озерах.

Это его думы.

Сыздетства сидят в голове, тревожат, разжигают кровь, таскают за собой. Бродит Микеша мозгами по обширной русской земле — много рассказов. Вздыхает, смотрит в лицо Калистрату.

— Спишь, Калистрат Васильич?

— Где же спишь! Разве я усну? Икра у левой ноги не годится.

— Это ревматизма у тебя. Ты карасином не мазал?

— Не поможет мне карасин.

— Не поможет! От карасину ты свет увидишь. Никакое средство не возьмет против карасину.

Акиша вспомнил про мальчонку, беспокойно задвигался.

Микеше хотелось говорить. С ревматизма перешел на ржаную муку, на мужицкую жизнь.

— На Урале житье, так житье!

Смотрит на двоих горячими блуждающими глазами.

— Казаки там, и всякая рыба водится: щука, сазанина, подлещик. Карася совсем нет. Тину любит карась, как свинья. А в Урал-реке вода синь-зеркало: травку всякую видишь, и как камешки лежат, как пескари плавают. Сомина тоже там,

что твой теленок, на полтора пуда, а туловище восемь четвертей — людей глотает. Насчет земель тоже графьями живут. Пшеницей занимаются, пашут машинами, лошадей у каждого по четыре. Богачи! А сена какие родятся. Накидают стогов — что твое ржаное поле. Продавать ежели — рупь полувозок. И все, понимаешь, в город везут. Прямо сказать, играют деньгой.

Микеша сидит восторженный. Если ему не поверят, перестанут слушать — расстроится, растоскуется, до зари провалется на полу с раскрытыми похолодевшими глазами.

Двое слушают молча. Микеша тащит их под Челябину, в Тобольск, к Енисею-реке, где не был ни разу.

— Такие удобства — не ушел бы. Ну, только муха водится, вроде нашего комара, очень негодная. Опять же боязно, в лесу потому что. Идешь — лес, польцо. Повернулся — лес, польцо; поселок — три избы. Ну, и народ режут. Ночью лучше не ходи — пропадешь. А земли сколько хошь, и золотом промышляют. У нас, к примеру, картошку роют, а у них там золото эдак.

Оня нарушает молитвенное настроение.

— Где нас нет, там и зимой соловьи поют.

Ему не отвечают. Поднимает он черную лохматую голову, сидит на нарах неподвижно. Опять ложится, подвертывает ноги.

— Ты не сердись, Аким. Слышишь?

Через минуту добавляет:

— А все-таки я не люблю тебя, это уж как хочешь.

Ложатся спать и остальные. Микеша долго возится на полу, не может уснуть. Видится ему сытая, богатая Сибирь, огромная уральская рыба и своя настоящая жизнь. Мысли в голове бродят целыми стадами. Хочется говорить. Закрывает глаза, двигается, мучается и не может заснуть. Оня лежит с поднятыми кверху коленками, против него — верующий Акиша. Рядом с Акишей — Калистрат. Микеша осторожно дергает старика за плечо.

— Не спишь, Калистрат Васильич?

— Где же я усну! Икра у меня не годится.

— Я тоже не усну.

Микеша улыбается, радостно шепчет:

— А ты икру-то карасином помажь.



Хочется говорить. И говорит он жалостливо про Калистратовы икры, про семидесятилетнюю старость. Жалуется на тюремную сырость, на нестойкую жизнь, тащит старика в Тобольскую губернию.

## 5

Три дня сидели, привезли еще двоих: дядю Яшу и кузнеца из Соколки. Дядя Яша вошел в тюрьму робко, почтительно; кузнец пожелал испробовать силу. Натянул руки в дверях, высокоий, горячий, как степная лошадь. Позвали двоих сторожей из управы.

— Бросьте, ребята, ушибу.

А когда прибежали двое десятников, кузнец лежал уже на нарах.

— Устал, чорт возьми, давно не дрался. В молодости я кулаком бил, что твоей гирей. А теперь вот силы пропадать зачали, и гибкости прежней нет.

Улыбнулся кузнец застенчивой улыбкой, попросил табачку.

— Бороться я охотник. А у нас дьякон Акафистов был, о. Павел. Не старый и тоже цыган на борьбу. Придешь, бывало, жеребенка ковать к нему на двор, а он заведет под сарай и дразнит. — Степа, сойдемся? — Веселый был и всякую шутку принимал. — Неохота, мол, отец, спина болит. Молотком ведь стучу, а ты кадилой машешь — разница. — Боишься? — Человечина он саженный и костью твердый. Прямо изломает, если заглядишься. Смеюсь ему. — Уроню, дьякон, — стыдно будет. — И он тоже смеется. — Попытаем. Зачем воробья щипать?

— Схватимся и таскаем по двору друг друга, словно спутанные лошади. У меня — сноровка: подтяну его на коленку да и — раз! — Что, мол, лежишь? — Ну, он сердится. — Ты, говорит, с обманом. По-новому давай, а на коленку не поднимать. — Ну, давай. — Смешно мне. Разгорится человек, ноздрями дует, кулаками жмет, а у меня другая сноровка: подпущу к себе, согнется, чтобы на плечо поднять, а я возьму да и упаду назад. Летит дьякон через мою голову, а я перевернусь, да на него. — Что, мол, лежишь?

Все смотрели на кузнеца сбоку. Лежал он на нарах, вытянув ноги. Серые глаза шурились насмешкой, как будто ничего не случилось с ним, и идет он другой дорогой, на которой

только шутки. Тоже тяжело человеку, а лицо веселое, рассказывает, как боролся.

Оня спросил, не глядя в лицо:

— Восемь пудов поднимешь?

— Или спорить хочешь?

— Я до женитьбы поднимал.

— Восемь не подниму, двенадцать попытаю.

— А двухпудовой гирей перекрестишься?

Кузнец улыбнулся.

— Я руками-то не крещусь.

Акиша сел рядом.

— На воле как слышно?

— Тревожно. Скотину ведут, народ по волостям гонят.

Микеша стоит встревоженный, руки держит на груди.

— Гибнет крестьянский народушка.

Смирный, послушный Яша замахал руками, головой тычется, будто плакать хочет.

— Гибнет!

Голос у кузнеца рассыпается искрами, и лицо не прежнее.

— Лошадь бьют — лягается. Козла дразнят — пырятся. Поняли? Всякое животное имеет свой зуб. Плохая тварь муха, а укусит — что твоим шилом ткнет. Человек хуже мухи. Плюнь в бороду — утрется. Тяпни по спине — почешется.

Опять подошел Оня, начал дышать в лицо мягким, сырým теплом.

— Я тебе историю одну — хочешь? Ну, вот. Шестеро у меня, а жена еще одного таскает. И все хлеб едят. Кормил золой — плачут. Держал на голодке — тоже плачут. А потом и со мной случилось. Вышел на двор, положил рыло на плетень и завыл по-волчьи. Знаю, зерно у соседа мыши сосут. Кла-няюсь — не глядит. Рассказываю — не слушает. Веришь?

— Верю, напрасно рассказываешь.

— Нет, я к примеру только. Ты сейчас мне притчу задал, а я тебе свою загадку загадал.

Утром приехала Акишина баба, привезла мужику тяжелую новость: мальчонка умер. Нет теперь мальчонки. Вчера

жаловался на горлышко, а сегодня четверо понесут на полотенцах, положат за церковью. Придут черви, обовьют белую детскую кость, проберутся в нутро. Изъедят розовые щеки, иссосут глаза, черным пухом обовьют гробовые доски.

— Умер.

Привалился Акиша головой к стене, потемнело в глазах.

Прошел до другой стены, сел на полу. Ноги вытянул, руки положил рядом. Сидит, улыбается, плечом дергает. Лапоть-то худой. Чинить надо.

Микеша бросил ласковое слово:

— Ляг, Аким, не убивайся.

— Я лягу.

Оня сердито сказал:

— Попробуй теперь могилу рыть — достанется. Аршина на два промерзла земля.

Ему никто не ответил.

1913



## БЕЗ ЦВЕТОВ

### 1

Окончил я второклассную школу, получил свидетельство учителя грамоты. Жизнь впереди казалась привлекательной. От радости я готов был прыгать и смеяться до слез. В прощальный вечер собралась кучка веселых, улыбающихся второклассников, тоже получивших свидетельства деревенских учителей. Было нас двенадцать человек, двенадцать выкидышей, оторванных от сохи. И все мы радовались, что теперь мы — не мужики, не просто крестьянские ребята, а что-то получше, повыше, и жизнь у нас будет не похожа на мужицкую.

Уезжая в Кайдарово, Никита-брат дорогой спрашивал:

— На кого ты, Митя, вышел теперь?

Ехали ржаными полями. День солнечный. Небо голубое. Светлой радостью радуют черные пятна знакомых селений. Стучат кузнечики, тихим перезвоном поют жаворонки. Не хватает только маленького убаюкивающего колокольчика под дугой.

А чудак Никита спрашивает, на кого я вышел.

Сидит в подпотевшей рубахе, лениво дергает вожжами. Лицо простодушное, доброе. Смотрит сбоку на меня, разговаривает почтительно, как с господином из города.

Отчего я расхвастался?

Оттого ли, что кругом много воздуха, широкого полевого простора, или оттого, что получил свидетельство учителя грамоты?

Смеюсь над Никитой.

— Чудеса с тобой, брательник! Спрашиваешь, на кого я вышел. Известно — на учителя.

— А жалованье сколько положат?

Тут я совсем пренебрежительно сказал:

— Маленькое жалованье — десять рублей. Потом положат двадцать.

— Двадцать рублей в месяц?

— Разве много?

Никита причмокнул.

— Деньжонки! Куда будешь девать?

Да, двадцать рублей — большая кучка. И не только Никите, но и мне тогда, не имеющему двадцати копеек, кучка эта казалась огромной.

## 2

Вечером к отцу собрались родственники, ближние соседи. Всем хотелось поглядеть на приехавшего второклассника. Отец по случаю семейной радости угощал их чаем, кренделями, распластанной рыбой.

Родственницы своими поздравлениями до слез волновали старушку-мать.

— С сыночком вас, Макарьевна! С радостью! Здравствуйте, Митрий Петрович!

Меня усадили в передний угол, как самого важного, самого интересного человека, среди потных улыбающихся мужиков.

А мне не сиделось.

Петухом выскакивал из-за стола, пресерьезным образом расхаживал по избе, заложив руки за спину. Это не крестьянская привычка — ходить по избе, заложив руки за спину, — и посмотрели тогда на меня, как на человека нездешнего, из другой земли, другой породы.

Всем ясно было: я — теперь не мужик, не пахарь, не косец, не молотильщик.

Кто же я?

Смотрели на меня отуманенными глазами и все, что я рассказывал, слушали охотнее, чем воскресную проповедь.

— А что, Митенька, на о. дьякона вы теперича можете выйти?

Я снисходительно улыбался.

— Конечно, могу, не сразу только. Хотя мне не нравится дьяконом быть — неинтересно.

Крестный лукаво подмигивал.

— Петь-то, чай, нюмеешь?

— Шагай в воскресенье, послушаешь, как „апостола“ прочитаю...

Отец смотрел — и не верил: сон это или действительность?

Когда-то он примеривал ко мне сапожное ремесло, портновский аршин с утюгом, столярный верстак, но ни разу не думал об учительстве. И чумазое сапожничество, и пьяное кривоное портновство, и столярные фуганки со стамезками казались возможными, допустимыми, а учительство нет. Учительство считалось привилегией немногих и, конечно, не для нашего брата.

Вдруг... я — учитель.

Господин учитель...

А со временем — дьякон. Настоящий, форменный дьякон.

— Миром господу помолимся.

Сверстники мои будут гнуться над десятиной, а я — прохаживаться с папиросой в зубах.

Вот она наука до чего доводит!

Хорошо!

Сердце матери переполнилось радостью. В глазах, вместе с чувством умиления, светилась материнская гордость. Я тоже терял голову под завистливыми взглядами мужиков и кружился весь вечер в молодом, непривычном тумане.

### 3

В сентябре провожали меня в Желобовку. Положили узелок с бельем, две пары шерстяных чулок, белый клеванчатый хлеб. Мать тихонько от семьи продала полсотни яиц, сунула в руку мне сорок копеек — последний дар любящего сердца.

Опять собрались родственники. Крестный, дядя Петр, принес бутылку водки, налил мне чайную чашку.

— Выпей, племянник. Приеду в гости к тебе, и меня угостишь.

Отец посоветовал:

— Выпей, Митя. Только там не защибайся...

— Да уж, там не надо. Чужие люди — помилуй бог.

Наказы.



Предупреждения.

Счастливые обещания.

Отец раскошелся на свою бутылку.

Брат Никита затянул „Черного ворона“. Крестный подделался тенорком, у кого-то нашелся басок — „Черный ворон“ вышел трогательным. Расчувствовался отец, разволновался, послал еще за водкой.

Его удержали.

Перед отъездом он долго крестился в передний угол, просил бога утвердить меня на новой дороге.

— Ну, прощайся, сынок! Поклонись матери.

Старушка расплакалась. Достала с божницы кипарисовый крестик, купленный у проезжего грека с „Афон-горы“, трижды благословила меня.

— Не забывай, Митенька!

Мужики вокруг гудели трогательными голосами:

— Не отрекайтесь, Митрий Петрович! Не отказывайтесь от нашей бедности.

А пьяненький крестный наставительно грозил указательным пальцем.

— Слушай, племянник! Митя, слушай! Хоша ты и ученый человек, образованный, а родителей своих не забывай. Помни! За родителей тебя и бог не оставит. Давай руку-то, учитель!

Мать плакала.

Простодушный Никита, припадая ко мне, торопливо шептал:

— Ты, Митя, с трешинку пришли нам оттуда. Пра ей-богу, Митя... С трешинку. Сам знаешь, какие мы жители. Бедность!

Бывшие сверстники смотрели на меня, как на счастливого кайдаровского отщепенца, уходящего в легкую жизнь.

— Куда это он собрался?

— В учителя едет. Десять рублей в месяц.

— Вот так Митька!

— Он теперь Митька. Возьми его гольми руками. На дьякона вышел.

Отец тронул буланого меренка, телега медленно покатила по кайдаровской улице. День был ветреный. Над Кайдаровым ползли разорванные тучки. У околицы прощально кланялось мельничное крыло.

Отцу было весело.

Разговаривал с лошадью, с птицами, летевшими мимо, с голыми осенними полями.

Навстречу попадались мужики из соседних деревень, спрашивали:

— Далеко ли, Петр Павлыч?

Отец придерживал лошадь, охотно вступал в разговоры.

— Сына везу в Желобовку. Учителем он у меня.

— Учителем?

— Да.

— Родной, что ли, тебе?

— Родной. Двое их. Большак по крестьянству пошел, а этот экзамены сдал в Озерках на учителя. Десять рублей в месяц.

— Так, так...

Отец пьянел от настроения сильнее, чем от выпитой водки. Беспокойно двигался на телеге, пристально вглядывался в раскинутые пашни, следил по дороге и все отыскивал что-нибудь живое, двигающееся, умеющее говорить.

Я молчал.

Посматривал на дымчатый горизонт наступающей осени, на раскиданные по сторонам деревушки с селами, старался представить Желобовку, крошечный уголок, где ожидает меня незнакомое.

— Ты что, Митя, молчишь? Али думаешь о чем?

— Голову больно.

Я говорю неправду, отец верит.

— Знамо больно. Тридцать верст проехали, а дорога трясет. В тарантасе бы теперь—хорошо. Ложись, я поеду шагом.

#### 4

Издали Желобовку не видать. Подъехать ближе — похожа на длинный заколоченный ящик. Булькает, переливается никому на свете не нужная жизнь. Вправо бьется на ветрах жиденькая роща, влево светят крошечные болотца под мелким кустарником. Дальше — пашни, черные прогоны, снятые посева хлеба. Во все стороны наломаны дорожки, узкие тропы, точно ленты, развитые взад и вперед.

Около въезда широкий пустырь.

По нему вплотную насажены деревянные амбарушки, плетневые сарайчики. Весной и летом на пустыре бродят молодые телята, свиньи, недомогающие коровы, по целому дню ходятся куры. По праздникам играют девки.

Тут стоит и школа грамоты.

Внутри — грязь, теснота, сплошное убожество. Стекла в окнах перебиты, рамы гнилые. Стены замазаны пылью, копотью, паутиной. В „классе“ три парты, сколоченные из горбылей. Четвертая валяется на полу. В переднем углу высокий иконостас. Перед иконостасом на грязной тесьме бултыхается стаканчик для деревянного масла. В заднем углу, рядом с печью — дощатая перегородка. Это — „квартира“ учителя с одним окном на пустырь. Около окна — крошечный столик, длинная скамья, заменяющая мебель. Поодаль от стола книжный шкаф, несколько рваных учебников, две — три разбитых чернильницы, мышиный помет.

Отец доволен и этим.

Все, что попадает на глаза ему, рассматривает он очень внимательно, с видом человека, приехавшего купить новую избу. Некоторые вещи ощупывает. Прикинет на глаз, оценит, направится дальше. Потрогает рамы, потрогает печь, поковыряет пальцем. Вымерил школьные стены, с гордостью передал мне:

— Восьми с половиной аршин, Митя. Мать бы теперь сюда порадоваться. Ты что повесил голову?

## 5

Вечером заглянул сторож Онуша, лысый словоохотливый старичок. Летом сидит у околицы он, „стучит“ по деревне, с осени нанимается в училище. Разговаривает с увлечением и ни мало не беспокоится: слушают его или нет.

— Знаю, знаю Кайдарово, как же, бывал. И Чердаки знаю, и Бряндино. В Чердаках мы раз лошадь купили, в Кайдарове — избу. Мож, вам самоварчик согреть? Это ничего не значит. Тетка Дарья слова не скажет. Мы сейчас смаргафоним, посидите пока.

Приташил от тетки Дарьи маленький „вдовый“ самоварчик, пригоршень — две углей, ломоть черного хлеба. Через полчаса угощал меня чаем.

— Кушайте, Митрий Петрович, не стесняйтесь. Кроватки у вас тоже не имеется? Ну, не беда. Денька два — три на полу по-валяетесь, а там мы устроим „нару“. Такая выйдет нара, просто, ай-да батюшки! Я давно вожусь с вашим братом, знаю. Не слышали вы про Миколая Павлыча? Так, тощенький из себя и все, бывало, кашлял. Две зимы я няньчился с ним. Кому нужен на чужой стороне? А тут еще прихварывать начал, кружение в голове пошло. Ночью стонет. Сидит на кровати, охает. А то ходить начнет. Ходит-ходит и все чего-то бормочет. Иной раз страшно станет. Ночь, темно, а он бормочет. — Ты, говорит, Онуша, не бойся, я не сумасшедший. — Мучился-мучился, к рождеству свалился. Лежит день, лежит два, провалялся целую неделю. В больницу бы тебе, говорю, Миколай Павлыч. Молчит. Повернется к стене — и шабаш. А тут холодищи пошли, дрова все вышли. Чего делать? Жалко! Пошел я тогда к старосте. Так и так, Терентий, умирает. — Кто умирает? Где? — Миколай Павлыч не встает. В больницу свезти надо, а денег нет. Выручай, Терентий. — Ну, отрядили общественную лошадь, подъехали, а учитель не едет. — Не поеду! — Мы с Терентьем туда-сюда — шабаш! Уперся на своем. — Не поеду! — Сел я эдак вот около него, уговариваю. Поглядел он на меня, говорит: — А ты, Онуша, жалеешь меня? — Грустно мне стало. — Знамо, говорю, жалко, Миколай Павлыч, молоденький ты. — Да, говорит, не старый. Спасибо тебе...

Онуша примолк.

В окно тоскливо заглядывали осенние сумерки. За стеной поднимался ветер. В улице слышался плач ребятишек, рычали собаки. На соседнем амбарушке мрачно выкрикивал филин. На столе, вместо лампы, горела восковая свеча.

Я спросил, поднимая голову:

— Вылечился он?

Онуша вздохнул.

— Где уж там! Нутренности у него не годились, помер. Кушайте а вы, остынет...

## 6

Три раза Онуша ходил за старостой.

— Ну, что?

— Нейдет, мошенник!

— Видел ты его?

— Разговаривал.— Не пойду, говорит, некогда.

Староста высокий, широкоплечий, лет сорока пяти. Встретил меня шутливым смешком:

— Что, нужда скачет, нужда плачет?

— Я к вам с просьбой, Павел Иванович.

— Знаю, знаю. Заколотить ее надо к лешему, училищу вашу. Купить горбылей и заколотить. Вы думаете, польза от нее? Замучились! Дров давай, керосину давай, на сторожа давай, на поправку, а коснись бумагу написать—дураками слышем. Вы вот жалуетесь: печка худая, окошки худые, дров нет, парты не годятся—сто рублей надо. Начни собирать—получишь шиш. Пробовали, собирали. Двое кричат: надо! А двадцать человек—не надо!

Когда староста пошел запрягать лошадей, я тихонько спросил:

— Как же теперь, Павел Иванович?

— Потерпи, там увидим.

— Далеко едете?

— Снопы возим.

В сенях старостиха сунула пару яиц.

— Возьми, возьми, не стесняйся. Сваришь там.

Онуша сколотил „нару“.

Достал пару горбылей, четыре березовых чурбашка. Ошибся размером. „Нара“ вышла не по росту. Все-таки Онуша не упал духом. В самые критические минуты изобретательность его не имела границ. Прежде всего выразительно выругался, крикнул, присел на полу около неудавшегося произведения, закурил (все немцы закуривают трубки, когда ошибаются).

— Плохо, Онуша!

— Ничего не плохо, ложитесь.

Я лег.

— Протяните ноги.

— Некуда, Онуша.

— Ах, некуда! А вы их вот таким манерцем, кверху.

Старик прилег на „нару“ и показал наглядно, как нужно устраивать ноги „манерцем“.

— Вот! Теперь папироску в зубы и лежи-поплевай.

Видя разочарование мое, успокоил:

— Ладно пока, Митрий Петрович, не тужите. В поле и жук—мясо... Добьемся теску, я вам кровать устрою.

## 8

Дул ветер. Шли дожди. Размокшая, придавленная сыростью школа доводила до отчаянья. Стоило посмотреть на осклизлый пустырь с почерневшими амбарушками, на хмурое осеннее небо, на мокрых галок, прыгающих с крыши на крышу,—радость сменялась печалью. Проедут мимо пьяные желобовцы с базара, вынырнут словно перепуганные лешаки с взлохмаченными головами — снова пустырь перед окнами, мокрые галки по крышам.

Онуша любопытствует:

— Что, не весело? Али письмо получил с родины?

Спасибо ему.

Примостится, бывало, заберется подальше в свое прошлое и вытаскивает оттуда по кусочку, растягивает по ниточке, вяжет, плетет, наматывает целый разговор.

— Делишки у нас не того, Митрий Петрович, простудиться можно.

— Что же делать?

— Давай зашивать. Я начну орудовать с печки, а вы — с окошек.

— Сами?

— Больше некому.

Ласковое сердце Онуши всегда было полно беспокойством за мои неудобства. Сам он приспособлялся ко всякому случаю. Жалко было меня, мою неопытную молодость, и старик делал все, что зависело от его личных усилий. Однажды выдумал печку на „восьми кирпичах“.

— Штуку хочу отчубучить, Митрий Петрович, в роде таганчика...

Штука не удалась.

К вечеру ремонт был готов.

Печка из белесой получилась серая, покрытая пятнами. Начали обновлять. Перекрестился Онуша, зажигая дрова, вздохнул.

— Господи, благослови! Дай бог не дымить. А у вас как, Митрий Петрович?

Потрогал оклейку на окнах...

— Здорово! Выпить бы теперь по эдакой вот...

— Я не пью, Онуша.

— Совсем?

Расставил ноги Онуша, выпятил узкую стариковскую грудь.

— Оно конечно, и в водке толку мало. Пробовал я, напивался. А ежели по-хорошему—ничего. Бывало, и с Миколаем Павлычем тоже...

— Он разве пил?

— Как сказать! Пить будто не пил всурьез, а от скуки потягивал.

Минут через двадцать выпиваем по-хорошему.

Старик рассказывает:

— Скучно. Я вот не такой человек, и то хочу чего-то. Хожу и хочу... Только у меня проходит скоро. Сном проходит. Лягу—и пройдет.

Говорю ласковым голосом:

— Онуша, принеси еще одну, мне хочется угостить тебя.

А когда старик приносит синенькую полубутылку в красной шапочке, я лежу на наре, прижавшись к стене. Вижу Николая Павлыча с чахоточной грудью.

— Пьешь, товарищ? По-хорошему? Я тоже так делал.

Онуша трогает меня за ногу.

— Спишь?

— Я не буду, выпей один.

— Оно конечно. Выпиваешь если, закусывай. А без закуски что ж? Без закуски нейдет. Нашему брату и то нейдет... Рыбы распластанной теперь с фунт—хорошо.

— Оставь, Онуша, оставь! Брось, не надо. Оставь меня!

Онуша стоит сконфуженный.

## 9

В шести верстах живет сосед мой, Петенька Ховрин, кургановский учитель. Когда нечем поужинать ему, говорит себе:

— Взгляни на птиц небесных: не сеют, не жнут. Ищите и обрящите...

Долго не думает, идет к знакомым мужикам.

Смешит их анекдотами, шутками, прибаутками, с шутками втирается за стол. После ужина попыхивает махоркой, рассказывает „уморительное“.

Мужики хохочут.

И Петенька тоже хохочет.

Только уже дома, лежа на постели, укорительно говорит:

— Эх, жизнь, жизнь, чортова перечница!

Бывает, и Петеньке приходится уходить голодным от мужиков.

— Петра Ваньч, ложечку щец с нами?

— Благодарю вас, не хочется.

— Чего не хочется — с бараниной.

— Право, не хочется.

Оказывается, что сегодня Петенька съел копченую воблу, выпил горшок молока, к ужину приготовил суп. Это он так вышел из дому, от скуки, от нечего делать... Спасибо!

Улыбается, хвастает, а мысленно бранит себя:

— Врешь, врешь, стыдно сознаться!

Дома похлопывает себя по животу.

— Покушал? Ну, и слава богу. Во сне увидишь баранину...

Мужикам Петенька нравится за разговорчивость. И мужики ему нравятся за гостеприимство. Пьяненькие называют его „сердешным“, „Рассей“, обещают прибавить жалованья.

— Петра Ваньч, друх, мы тебе прибавим. Пра, ей-богу, мы тебе прибавим. Любим мы больно тебя. Выпей! Картошки надо тебе? Говори!

Петенька боится показаться зазнаишкой, пьет водку, говорит мужикам о пользе учения заплетающимся языком.

— Верно, милай, верно. Мы люди темные, учи нас, учи. Кушай во славу божию. Наставляй.

А трезвые галдят на сходках:



— Не надо нам училищу!

— Не жалам!

Когда школа остается без дров, Петенька заглядывает в зеленый сундучок, где у него отложено „на газету“, вынимает запятанный полтинник, долго вертит на руке, опечаленный идет поить старосту.

— Ладно, видно, не до газеты...

## 10

Сидел он с иголкой в руке, штопал пальто, когда я пришел познакомиться. Засмеялся.

— Тепло загоняю. Учитесь. У вас тоже на теплых штках? У меня бобриковое, когда-то новое было...

— Не скучаете?

— Вывертывается реденько.

— А книги где достаете?

— Как же, почитываю, не отстаю...

За чаем Петенька переменял шуточный тон.

— Устал я. Удивляюсь, откуда столько терпенья у меня. Приезжаю осенью сюда, говорю знакомым, что живу здесь последнюю зиму. Проходит зима, наступает осень — опять тащусь в Кургановку. Попржнему жду весну, даю обещанье бежать и все-таки сижу четвертую зиму, да в Улусах просидел две. Затянет, засосет тебя какое-то безразличье, и сидишь. Я приехал сюда с благими желаниями „сеять разумное“... Но учу не я, а кургановская улица. Я только показываю буквы, набиваю ребятишек шелухой, а улица учит. Школа? Может быть, настоящая школа будет в Кургановке лет через пятьдесят, а пока балаган...

Петенька помолчал.

— Обидно, когда нас, деревенских учителей, полуголодных, оторванных от книг, от людей, судят за то, что мы живем неинтеллигентно. Правда! Но кто виноват? Разве я могу жить интеллигентно? Мне хочется отдохнуть в чистой комнате, за чтением книги, но у меня нет ни комнаты, ни книги... Вместо книги, приходится обжигать себя водкой и валяться в грязном белье, на грязной постели. Какой я учитель? Разве я учитель?

---

Вечером побрел в Желобовку.

В тишине полевого безлюдья курился дымок. Вспомнилась плачущая мать с кипарисовым крестиком в руке, веселая компания родных, поющая „Черного ворона“. Вспомнились сверстники, провожающие меня в счастливую жизнь.

Грустно.

Своротил на межник и просидел на нем больше часу, уронив встревоженную голову...



1914



## ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

### 1

**В** мае наступила засуха. По ночам вспыхивали молнии, прорезывая темноту, а утром попрежнему солнце сушило истомившуюся землю, жгло траву, мучило изголодавшуюся скотину.

Молебствовали мужики, поднимали иконы. Верст за пятнадцать обошли поля, изустали, изозлились на пыль, духоту, на о. Николая, взявшего за молебен четыре рубля — пользы не было.

Урядник двоих мужиков арестовал, запевших с горя „Разлуку“, наказал десятникам отнимать гармоники у парней, разгонять хороводы. По вечерам на зареченских улицах наступала тишина. Изредка тьякали только собаки, да в избах плакали потревоженные дети. За околицей села пели „Заступницу“ келейные девки. А дождя не было.

Богатые мужики потревожили копны на гумнах, разогнали мышей, разом подняли цены на хлеб. Перепуганная нищета начала нырять из стороны в сторону, предлагая себя и в косцы, и в жнецы, и на все дела, на какие только вздумается богатому человеку употребить выносливые руки.

Когда у Василья Сафронова баба затеяла последнюю квашню, он утешался пословицей: „Бог даст день, бог даст и пищи“. Прошло два дня, наступил третий, а пищи бог не давал. Василий задумался. В пятницу выехал в поле заборонить паровое, но не успел обернуться по загону десять раз, лошадь начала трясти головой. Дал Василий передохнуть ей, погладил по отвислому заду и, зная, что унывать в таких случаях не следует, спокойно сказал:

— Немного еще — добороним.

Сделала лошадь четыре конца, опять встала.  
Рассердился Василий, ударил ее кнутовищем.

— Вот выдумала стоять.

Лошадь не трогалась.

Василий посильнее ударил.

— Неужто не доборонишь?

Лошадь разинула рот, тряхнула хвостом. Подобрал Василий вожжи, начал хлестать по ногам. Увидел кроткие, плачущие глаза, налитые болью и страхом, — жалко стало, стыдно. Бросил кнутовище на землю, посмотрел. Перед ним лежала незабороненная полоса, на полосе в оглоблях стояла обессиленная лошадь, а солнце поднималось к обеду.

— Плохое дело! — подумал Василий, отстегивая супонь. — Видно, домой придется ехать.

Дома тоже плохое дело.

За столом разрезали последний каравай. Хуже всего было то, что Василью страшно хотелось есть, и именно теперь, когда хлеба не хватало на завтрашний день. Он говорил себе:

— Будет, не ешь. Чай, не малёнький?

И все-таки ел и все-таки не наелся. Вылез из-за стола голодным.

Баба сказала ему:

— Иди, мужик, добивайся муки.

— Куда я пойду?

— Куда-нибудь. Не без хлеба же будем сидеть.

На дворе Василий ругнул свою бедность, надоевшую до смерти, но легче от этого не было. Увидел лошадь, прижавшуюся у плетня, спросил, распутывая ей гриву:

— С тобой чего делать мне? Лазаря петь?

Со двора опять зашел в избу, стал искать ключи от амбара.

— Ты чего тут? — спросила баба.

— Да вот, ключи от амбара не найду. Ты не сметала в левом сусеке?

— Сметала, мужик.

— Значит, нет?

— Нет.

— Лошадь-то как же?

У Арсентьевой избы сидели мужики на завалинке, громко разговаривали. Маленький рыжебородый Никандра рассказывал о ссудах. Володя Сластнов, любивший кричать громче всех, заглушал Никандру рассказами про отрубные участки. Яков Куличков завидовал янганавским татарам, хвалил „татарского“ бога, своим недоволен был.

— Им, гололобым, везет. Опять у них дождик был, а мы православные, да сидим на бобах.

Василий тоже начал кричать, часто ругался, тыкал вверх указательным пальцем.

— Али небо проткнуть хочешь? — смеялись над ним.

Раскричавшись, он даже позабыл, что шел к Прокофьевым. Вспомнил, нерешительно зашагал дальше по улице. По пути догнал его маленький Никандра.

— Не муки ищешь?

— Ищу.

— Беда, я тоже без муки сижу.

У Прокофьевых Василья напоили чаем, муки не дали. От них завернул к Гараниным. Вместо муки накурился гаранинского табачку. Обиженный потащился домой. По пути зашел к старшине на счастье. Счастье обмануло и тут.

Поздно вечером баба опять сказала ему:

— Думай не думай, затевать нечего. Заложил ступай шубу. Чай, с пуд дадут.

Принесла из амбара Васильеву шубу, подбитую тюленем. Вытрясла пыль, положила на лавку. Шуба была поношенная, потертая, не раз попадала под слякоть и дождь. Глядя на нее, Василий вспомнил: годов шесть тому назад у него хорошо водились овцы. Кроме этой вот шубы намеревался сшить тулуп еще. Но, помимо воли, вышло так: овцы начали яловить, морозить ягнят, перепортились. Налаженное хозяйство съехало под гору. Вместо овец талан пошел на ребятишек. Если бы ухаживать за ними и беречь, как берег овец с поросятами, развелось бы их целый табун. Старую тесную избу пришлось бы перестраивать на новую, просторную.

— Чего глядишь, ступай! — сказала баба.

Перекинул Василий шубу через плечо, подумал. На плече нести неудобно, понес подмышкой.



— Сначала два пуда проси! — крикнула баба, провожая со двора.

Василий не ответил, свернул в переулочок. Около Митрохина огорода опять попался Никандра маленький, что-то в мешке тащил, перекинутом за спину. Издали нельзя было узнать, что несет Никандра, но Василий подумал:

— Мука!

Стало досадно.

— Волокешь?

— Пудишка добился.

— У кого выклянчил?

— У дедушки Микиты.

Оттого, что Никандра добился, у Василья явилась уверенность, что и он добьется, зашагал бодрее.

— Пес с ней и с шубой, осенью выкуплю. Можя, яровые хорошие будут.

А часа через полтора тем же переулочком возвращался назад. На плече моталась злополучная шуба. Минутами шел быстро, словно торопился куда, потом останавливался, поворачивался из стороны в сторону, неохотно трогался с места, с трудом передвигая отяжелевшие ноги. Побывал он с закладом и у лавочника Федора, и у другого лавочника, Сергея, торгующего в нижней улице, и у церковного старосты. Ни в одном доме не нашел охотника променять хотя бы за тридцать фунтов муки на дубленую шубу. В сердце поднималось озлобленье. И если бы можно было раздавить зареченских богачей, как давят толстых наевшихся вшей, он бы сделал это с большим удовольствием.

А в это время Анна, жена, у ворот думала:

— Хозяин заложит шубу. Если не два пуда, то пуд обязательно принесет. Пудом можно будет целую неделю прокормить и себя и лошадь. Целую неделю ребятишки не станут теревить за подол и мучить слезами.

Ночь была тихая, светлая, с неостывшей духотой. На земле можно было стоять босыми ногами, не обжигая подошв. Небо, покрытое редкими тучками, не казалось в эту пору таким безнадежным, как днем. Размечталась Анна, забылась. Стояла в ожидании мужа. А он принесет муки и, наверное, скажет:

— Ну, и богачи, черти! Полтора пуда дали — только.

Когда увидала на плече у Василья перекинутую шубу, чуть слышно спросила:

— Что, мужик, не дают?

Не ответил Василий. Сел на лавку в избе; Анна, пригорюнившись, встала напротив около печки. По стенам, по лавкам бегали голодные тараканы, отыскивая завалившие корки. На передней лавке стояла приготовленная квашня для теста, на столе лежали: решето, скалка. Анна была уверена, что Василий вернется с мукой, приготовила все это заранее. Двое ребятшек спали на разостланной на полу дерюге, третий в люльке пищал тоненьким голосом. Анна не слышала пisku, а Василью он напомнил: нет у него ни муки, ни хлеба, ни денег.

Расстроенный вышел на двор.

Лошадь лежала около коровьего хлевушка, широко раскинув ноги.

Жарко стало Василью, на лбу выступил пот. Охваченный страхом, толкнул лошадь в бок, начал кружиться.

— Что ты, что ты? Поднимись!

Когда лошадь с трудом поставила себя на ноги, Василий почувствовал такое утомление, такую слабость во всем теле, что готов был сейчас же повалиться вот тут, на навозную кучу, и спать, не просыпаясь, несколько суток подряд!..

## 2

После этого начали сны хорошие видаться. По ночам и деньги водились, и хлеб, и табак, и лошадь бегала рысью. Просыпался. Из каждого угла, из каждой трещины глядела отчаянная нищета. Лошадь ржет, словно за душу тянет. Короვენка уставится глазами и тоже хочет сказать:

— Покорми, хозяин, голодно.

Долго ломал Василий одуревшую голову, сказал жене:

— Ничего не знаешь, Анна? Корову придется продать.

Анна заплакала; Василий успокоил:

— Наплевать на корову, наживем.

— Не скоро наживешь.

— Наживем. Можя, яровые хорошие будут. Сколько, потвоему, просить за корову?

— Я уж и сама не знаю, сколько. Тридцать пять, чай, что ли.

— А не дешево?

— Ну, сорок пять. Да говори, что стельная она, лучше продашь.

Вечером Василий отыскивал попутчиков на базар. Ночью из Зареченки по крутоярской дороге выехала целая партия придавленной нищеты. Глядя со стороны на странный, медленно подвигающийся тележный поезд, можно было подумать: бредет бог весть куда и откуда ярмарочный балаган. Задаром можно тут и насмеяться и вдоволь наплакаться. Рядом с лошадьми, привязанные за оглобли, понуро шагали ошалевшие от бескормицы жеребята, на телегах хрюкали свиньи, кашляли овцы, гагакали гуси. За телегами по-двое, по-трое шагали мужики: кто в пиджаке, кто в расстегнутой жилетке, в подпотевшей рубашке, с вылезшим на шею крестом. Сидели на накле-сках, свесив мотающиеся ноги.

Василий ехал в обозе последним.

Лошадь шла мелким спстыкающимся шагом, отставала от передних телег. Он уже не торопил ее, не дергал вожжами, перестал сердиться, шел рядом с левой оглобли.

С правой оглобли тащилась корова.

Иногда останавливался Василий, прислушивался, не идет ли кто позади. Убедившись, что нет никого, торопливо сворачивал лошадь на чужой загон, шопотом говорил:

— Хватайте, хватайте скорее! Эй ты, Чернавка, не вешай уши!

А минут через пять так же торопливо оттаскивал их на дорогу.

— Будет, будет, хорошенького помаленьку.

Лошадь понимала, что тут не до шуток, шла, не упорствовала. Корова готова была ночевать на чужом загоне, жадно высывала язык, чтобы сорвать еще хоть один стебелек.

— Ладно, ладно! — ворчал Василий. — Заморила червячка — и ладно.

Снова все трое медленно двигались в путь, ныряли по долочкам, карабкались по буграм, освещенные узеньким месяцем. Слышно было в тишине ночи, как впереди по дороге

постукивали разбитые колеса, однообразно пели плохо смазанные оси да чуть слышно переговаривались подвешенные погремки.

В Крутоярово приехали на рассвете.

Скотная площадь была заставлена телегами с поднятыми кверху оглоблями. Сгруженные в кучу люди и скот начинали шуметь безалаберным шумом. Где-то лягаются лошади. Кто-то упустил из мешка поросенка, бегаёт по телегам, испуганно машет руками.

— Держи, держи!

Каменский мордвин порет кнутом привязанную за колесо собаку, стащившую кошель с хлебом. Собака скулит, визжит, щелкает зубами. А мордвин все не насытился, замахивается, в испуге кричит:

— Я-те выучу, нечистая сила!

По рядам ходит верхотуринская вдова Лукерья с кочетом на руках.

— Где тут с курами сидят?

— Али курицу продаешь?

— Кочета... Тихинского...

Другой кочет, выглядывая из лукошка на телеге, весело гаркает на целую площадь, откликаясь крутоярским товарищам.

Мужики смеются.

— Поет, проклятый!

— А что ему не петь? Он на базар приехал, калачи есть.

Завертелось базарное колесо полным ходом. Ругань, спор, божба, хлопанье кнутами, хлопанье по рукам, желание перекричать друг друга — все перепуталось, перемешалось с пением нищих, с ревом коров, ржанием лошадей, не разрываясь, повисло над площадью.

Василий около своей телеги поглядывал на рядом стоящих коров. Сравнивал их с Чернавкой, сомневался, надеялся, ждал покупателей. Прошел час, прошло два часа, покупателей не было. Ждал их Василий, посвистывал, покуривал, головой крутил, мысленно просил господ-бога помочь ему развязаться с коровой. Вместо сорока пяти решил отдать за двадцать пять. Страшно боялся, что придется искать охотников на Чернавку, как и на дубленую шубу.

Первыми подошли мужик с бабой.

Василий полюбопытствовал:

— Не коровку ли ищешь, землячок?

— Коровку. У тебя дойная?

— Дойная, дойная, недавно отелилась.

— А сам ты чей?

— Зареченский я, пятнадцать верст отсюда — около Верхотурки.

— Гляди, ежели нравится, — сказал мужик. — Я ничего не знаю.

Вытащила баба из-за пазухи жестяную кружку, присела на корточки под корову, начала сдаивать молоко.

— Да уж не бойся — без обману, — предупредил Василий хитрую бабу. — Лучше моего молока не найдешь — жирное больно.

Никогда не обманешь бабу.

Надоила она с рюмочку, попробовала на язык, даже понюхала.

— Дураков ищешь, дяденька?

— Каких дураков?

— Эдаких, как ты.

Больше и говорить не стала, потащила молчавшего мужа.

Поглядел Василий на бабу, на мужиков. Желая казаться веселым, сказал:

— Видать, тетка с перцем. Не иначе, она на мужике за водой ездит.

Шутка не развеселила.

Вторым покупателем подошел верхотуринский дьякон, в черной соломенной шляпе. Василий узнал его, но притворился незнающим. Чтобы больше понравиться, нарочно принял дьякона за священника.

Дьякон спросил:

— Доит твоя коровенка?

— Никак нет, батюшка. Телица.

— Телица, а без брюха. Разве такие телицы бывают? Где у нее брюхо?

— От бескормицы пропало, батюшка, извольте пощупать.

— Посмотрим, посмотрим. Сколькй телят?

— Трех—четвертым, батюшка.

Дьякону понравилась такая почтительность, начал рассматривать приметы на рогах у коровы.

— Верно, коровенка молодая. Теперь пощупаем теленка.

Но сколько ни щупал, сколько ни тыкал корову под ребра, дощупаться до теленка не мог. Станет щупать сам Василий— швыряется. Станет дьякон щупать— нет ничего. Бросил отыскивать пропавшего теленка, сказал:

— Ты меня обмануть хочешь, мужик.

— Что вы, батюшка, кого хошь спросите. Эй, дядя, поди сюда на минуточку.

Позвали Захара Пименова.

— Вот батюшка сумлеается насчет теленка. Пощупай, пожалуйста.

Стал Захар щупать, тоже нащупал.

Дьякон качал головой.

— Беда с вами! Того и гляди посадите в калошу.

Василий начал врать. Было у него две коровы. Одна из них недавно подохла, а эту вот нужда приспичила продавать. Человек он не очень зажиточный, а детей шестеро. Работать не работают, жрут много.

Рассказывал Василий, изредка поглядывая на дьякона.

— Верит или не верит?

Дьякон верил. Когда кончил рассказывать Василий, спросил:

— От какой болезни подохла твоя корова?

— От болезни от какой?

— Ну да, от болезни.

— И сам не знаю, батюшка.

— Как не знаю? Может быть, от язвы?

— Бог ее знает. Можя, и от нее.

Дьякон сказал строго:

— Как же ты эту продаешь? Может быть, тоже хвора? Ты думаешь, это шуточки. Нет, брат, это шуточки плохие. За это могут тебя не похвалить.

Понял Василий, что выстрел попал не туда, начал божиться, указывая на колокольню, как на свидетельницу, что говорит правду.

— Ежели не верите, батюшка, я доктора позову.

Дьякон не слушал.

— Чудно дядино гумно. Семь лет хлеба нет, а мыши водятся. Разве можно большую корову вести на базар?

Проводил Василий его невидящими глазами, подошел к Захару, чуть не плача.

— Не везет мне, Захар, сорвалось.

Захар тоже пал духом.

Озлобленно смотрел на зачавренного теленка, выгнувшего спину, колотил кнутовищем.

— Гляди веселее, чорт! Али спать приехал сюда?

В конном ряду торговали бойчее.

Татары вытаскивали оттуда то старого отслужившего мерина с болячками на плечах, то прихрамывающего двулетка, обросшего с голодухи длинной собачьей шерстью, то отощавшую кобыленку с растертой, прокусанной мухами холкой. И все это полуживое, голодное угонялось на постоянные дворы, чтобы через день, через два быть зарезанными.

На коров покупателей меньше.

Вывернется мешанская поддевка в смазных сапогах, поглядит, поковыряет в зубах, отправится в чайную. Подвернется и свой брат-мужичок, но у этого деньги запрятаны в нижних штанах. Прежде чем решиться вынуть оттуда, пол-дня будет приглядываться, прицеливаться, досыта нахлопается по рукам, прибавляя по гривеннику, и все-таки не купит, чтобы приехать еще раза два.

В полдень подошел Данила-хуторянин. Ему не понравилась шерсть у коровы. Четвертого покупателя Василий остановил сам. Это был знакомый татарин Камусь, купивший у него замороженного ягненка.

— Эй, Камусь, дешево отдам!

Камусь покачал головой.

— Этава тавар не подходяща. Акча юк.

— Ну, покупателя найди.

— Где ява найдешь? Кто такой тирялси?

Посмотрел Василий на понуро стоявшую лошадь, раздавил на плече у нее присосавшуюся муху. Подавленный душевной тяжестью сказал:

— Домой довезешь меня?

Вынырнул шустрый, веселый Костыш из Зареченки.

В одной руке — калачная сайка, в другой — подпотевшая вобла. В кармане — полубутылка. Идет прямо к Василию с Захаром; останавливаясь, говорит:

— Господа почтенная фублика! Кому угодно племенного бычка? Подходите к Захару Петровичу. Кому породистую коровку? Пожалте! Вот она: не доит, не вымнет, через месяц отелится.

Сел Костыш на оглоблю, покрутил головой.

— Теперича я, как голубь. Овец продал, деньги пропил, чего буду делать?

Выпил Василий из Костышевой полубутылки, площадь скотная начала покачиваться, лошадь сделалась непохожей на прежнюю. Улыбаясь, сказал:

— Ну, и водка у тебя здоровая, Костыш Иваныч! Сразу в голову ударила.

### 3

Вечером возвращался домой, шагая с левой оглобли. С правой тащила корова. По дороге обгоняли базарники, спрашивали:

— Купил корову, дядек?

— Купил, купил!.. Держи левее, заденешь.

— За сколько подцепил?

— За все медные.

Мужики принимали за пьяного его, смеялись. Балагуры кричали:

— Дядя, дядя! Ось в колесе.

Останавливал лошадь Василий, долго кружился около телеги, не понимая, что ему сказали. Не доезжая до Зареченки, вспомнил: домой едет. Сердце заныло.

— Погодите, не торопитесь, — сказал лошади с коровой. — Давайте подумаем.

Остановились все трое, и стояли до тех пор, пока Василий думал. Глядел на потемневшее небо, отыскивал дождевые тучки, считал непроеханные версты. Долго думал — додумался... Скоро приедет домой. Дома встретит жена, наверное станет плакать. Сам он, сидя на лавке, будет слушать, тосковать, сердиться, бесполезно ломать голову.

Ребятишки скажут:

— Мама, есть.



Есть нечего. И за хлебом некуда итти. В нищие? И без Василия много нищих. Изю всех углов, изю всех ущелий выползли они, запрудили улицы. Полуослепшие старики, выгнанные из дому сыновьями, позабытые смертью старухи, беременные бабы с грудными на руках, безземельные мужики, странники, прохожие — все это униженное, слезоточивое скопище с утра до вечера трется под окнами, жалуется, плачет, ругается, протягивает дрожащие руки.

Смерклось.

Кругом улеглось и притихло.

В долочке, между бугорками, отдыхал старик, закусывая каленым яйцом. Рядом с ним лежали: жестяной чайник на боку, палка, холщевый мешок, кожаная сумка. Бродил он по деревням, рассказывал верующим старухам про „святые“ места, где никогда не был, лечил больных баб „иорданскими“ камешками, собирал хлебом, медью, бездельничал, пьянствовал на глупость народную.

Спросил Василий старика:

— Далеко ли шагаешь, дедушка?

— Далеко. В нерусску—турецкую землю, во святой град Иерусалим, на поклонение гроба господнего...

— В турецкую.

Пустил Василий по дороге лошадь с коровой, а сам присел около странника на колючую луговину.

— Я вот на базар ездил. Хотел продать коровенку — не продал. Ну, как в Русалиме у вас там — ничего?

Старик рассказал про неугасимую лампаду, про иерусалимские пещеры, про царя-султана, про турок, которые сеют табак вместо пшеницы, спутал Васильевы мысли, запутался сам

Василий спросил:

— Давно странствуешь?

Давненько.

Не боишься?

— А чего мне бояться?

— Ну, да, конечно, кто бросится!

Поглядел Василий на кожаную сумку, старик придвинул ее поближе к себе. Василий сказал:

— Хорошая сумочка. Не иначе, в городе подцепил такую? Старик покосился.

— Подареная. На Черном море, в Одесте...

— Чу, чу! Как у нашего писаря.

— Не трог! Чего тебе надо?

Спрятал Василий за спину трясущиеся руки, переменял разговор. Рассказал с подробностями про базар, про скотину: годов шесть тому назад у него хорошо водились овцы... Старик подозрительно прислушивался: не едет ли кто позади? Кругом было тихо.

Сверху из-за облаков выглядывал месяц. На слабо освещенной дороге бесшумно лежали отдыхающие тени.

— Потихоньку пойду,— сказал старик, надевая кожаную сумку. Кровь ударила Василию в голову.

— погоди!

Быстро, по-кошачьи прыгнул на старика.

Старик не удержался. Падая, закричал. Сидя верхом на нем, Василий зажал ему рот ладонью.

— Не кричи, не кричи! Где деньги?

Несколько минут прошло в неравной борьбе. Не зная, что делать, Василий держал старика за горло. Охваченный ужасом, беспрестанно твердил:

— Не кричи, не кричи! Я не трону тебя. Мне только деньги...

Послышался звон колокольчика.

Воспользовался старик слабостью заробевшего Василия, вытащил из голенища ножик, ткнул им в бок.

— Что ты делаешь?— испуганно закричал Василий. С силой впился старику в горло.

— Ведь ты меня зарезал!

Закружилась голова. Сами собой разжались крепко стиснутые пальцы.

— Зарезал.

Подставил под месяц окровавленные пальцы, в изнеможении присел на дорогу.

#### 4

В полдень накрапывал дождь.

Подозвал Василий Анну, тихо спросил:

— Сильный дождик?

— Нет, не больно сильный.

Подумал Василий о выжженных солнцем полях, сказал еще тише:

— Можя, к вечеру разненастится...

Поговорил о ребятишках, о бороньбе, о пашне, о дальней долине, засеянной просом, а вечером лежал под образами в новых холщевых портянках, с положенным на груди распятым.

## КОЛЬКИН ТАБЕЛЬ

### 1

**К**олька псаломщиков ехал домой с двумя переэкзаменовками. Но всего обиднее было не это. Костя попов, ехавший с четверками, держался не по-товарищески, все время подсмеивался. Вначале оба товарища чувствовали себя легко и свободно. Костя пугал перепелов, бегал за сусликами, расспрашивал про Каменку, про каменскую речку. И Колька пугал перепелов, гонялся за сусликами. Даже белую березу ставил на межнике <sup>1</sup>. А выглянула с пригорка Каменская колокольня, сердце у Кольки застучало беспокойно. Все вокруг потухло. В испуганных глазах трепался табель с наставленными двойками. Старался Колька и веселее взглянуть, но сердце не слушалось. Проезжая мимо обвалившейся часовни на перекрестке дорог, обратился к ней с просьбой помочь его горю...

### 2

Брат Павлик сидел на крыше сарая. Увидя быстро подвигающийся тарантас за околицей, моментально спустился, поднял всех на ноги. Батюшкин петух, разговаривающий около палисадника с просвирнинными курами, чуть не кубарем покатился под ворота.

А когда тарантас с приехавшими выскочил из-под горы на церковную площадь, около поповых ворот стояли ожидающие: о. Василий с матушкой, Колькин папочка без шляпы, мамочка с засученным рукавом, трехлетняя сестра Ленка со спустившимся чулком на левой ноге и сияющий Павлик с новым не

---

<sup>1</sup> Становился на голову.

вполне доделанным змеем. Около возился молодой щенок. Павлик думал удивить щенком приехавших.

Удивить не пришлось.

Костя не обращал внимания. Брат Колька начал зазнаваться. Сколько раз ни подсовывал Павлик под ноги ему перетрусившего щенка, Колька даже не полюбопытствовал, как его кличут.

О. Василий посмеивался, поглядывая на ребяташек.

— Ах вы, студенты, студенты! Соскучились небось, а? Колька, соскучился?

— Соскучился.

Стоял он около своего сундучка усталый, измученный ожиданием допроса, боялся взглянуть на отца.

— А ну, если спросит?

Отец не спросил.

Взвалил на себя Колькины пожитки, потащился домой. Впереди выступал Павлик с распущенным змеем, за Павликом прыгала Ленка со щенком на руках, за ними шагала мамочка с Колькой.

За столом Колька обжигался чаем, отказывался от разогретых булок, ждал объяснения с отцом.

А отец как будто славный.

Ленка на глазах у всех обсосала кусок сахара, а он даже не рассердился.

— Смотри, дурочка, зубы будут болеть.

Мать рассматривала Колькину курточку, прохуdivшуюся в локтях, заботливо расспрашивала: когда прохуdivлась, не стоптались ли сапоги.

Отец поглаживал бороду, задавал Кольке нестрашные вопросы: когда выехали со станции, где ехали, какая в городе погода.

Павлик хвалился новым змеем. Рассказывал про щенка, про голубиные гнезда на колокольне.

По-воскресному попыхивал самовар. На кушетке сладко потягивалась кошка. Под окнами клохтали куры, шумели воробьи. Все радовались Колькиному приезду.

Колька на всякий случай готовил хорошую речь в оправдание.

А когда молился богу после чаю, прибавил к обычной молитве:

— Господи, господи, дай бог не ругались.

Хотелось помолиться погорячее, поусерднее, с земными поклонами, но так как под окнами клохтали куры, шумели воробьи, и все они были очень рады Колькиному приезду—тут уж не до молитвы. Отложил ее Колька до следующего раза. Освободился от надоевших за зиму сапог, от форменной фуражки с плисовым околышем, отправился в церковную ограду в сопровождении Павлика и Павликова щенка. За ними и Ленка попрыгала, но Павлик смерть не любил дружить с девчонками: Ленка осталась у крыльца с засунутыми в рот двумя пальцами.

В церковной ограде все оказалось по-старому, стояло на прежних местах. Те же могилы около алтаря. Те же дикари, укрытые травой. Акации как будто ниже стали ростом, чем прежде, или это сам Колька стал выше — что-то не совсем ясно.

Обошли вокруг церкви несколько раз, двинулись на огород.

Сотни полторы разгулявшихся воробьев на изгороди оживленно беседовали.

Павлик сказал брату:

— Свадьба! Погоди, я достану камешек.

Смекнули воробьи, что за люди шатаются тут, целой тучей поднялись на полет.

Под плетнями лежала свинья с поросятами.

Павлик натравил на свинью не умеющего лаять щенка.

Свинья оцетинилась.

Павлик перетрусил.

Щенок кубарем покатился в сторону.

Забыл Колька про полученные двойки, начал ловить поросят.

Весело было.

Куда ни заглянешь, куда ни забежишь — везде знакомое. До всего хочется дотронуться, пощупать, погладить, перевернуть на другой бок, поговорить даже с предметами, не умеющими разговаривать.

Осмотрели все уголки и закоулки около деревьев, заглянули на кладбище. Прошли по могилам, поговорили о мертвецах, шатающихся по ночам в белых саванах, мимоходом уронили несколько подгнивших крестов.

От кладбища сбегали на реку.

Распугали отдыхающих на песке лягушек, поспорили: можно или не можно без отдыха переплыть реку. Колька говорил — можно. Павлик уверял — нельзя. Потом и Павлик согласился: — Можно!

## 3

Дома Колька посмотрел на отца: как будто не сердится. Только лицо не прежнее и глаза темнее стали. Если всмотреться хорошенько — старик. Спина сгорблена, плечи перекошены.

За ужином больше молчали.

Разговаривал Павлик, но его слушали плохо и чуть не каждую минуту делали замечание: нос вытри, ногами не болтай, из ложки не лей.

Ленка капризничала.

Мать жаловалась на корову, переставшую доить.

Отец бранил пастухов.

После ужина Колька опять прибавил к обычной молитве:

— Господи, господи, дай бог не ругались...

На этот раз молитва не дошла до бога. Перед тем, как спать ложиться, отец спросил, словно нарочно:

— Слушай-ка, брат, ты перешел во второй класс? Я позабыл спросить тебя об этом. Покажи мне табель!

Колька раздумялся до самых ушей. Неторопливо отпер сундучок, неторопливо вытащил табель. Бросила мать готовить постель, подошла к столу. Подскочил дремавший Павлик, припустилась ничего не понимающая Ленка. Все смотрели в развернутую бумагу: кто сверху, кто снизу.

Колька стоял в стороне.

Наткнулся отец на двойки, свернул бумажку трубочкой, потом сложил вчетверо. Опять развернул. Бросил на стол. Кашлянул, оглядел ребятишек злыми потемневшими глазами, пошел в спальню. Задел за стул ногами, выругался, затих. Стащил сапоги с себя, бросил в угол.

Мать стояла у стола пораженная, разглядывала брошенный табель.

Колька ждал: сейчас что-нибудь случится хуже этого.

Подойдет отец и скажет:

— Спасибо, сынок, порадовал!

А мать добавит:

— Эх, мучитель, мучитель!

Наверное, бить станут.

Заплакал.

Из спальни отец вышел в одних чулках, с перепутанными волосами на голове.

— Не хнычь! Теперь хватился?

— Я не виноват, папа. Я старался.

— Я тоже не виноват, что ты оказался лентяй. Вот и учись, как знаешь.

Спали хорошо этой ночью только Павлик с Ленкой, для которых жизнь была одно удовольствие. Остальные мучились. Отец несколько раз поднимался курить и подолгу сидел с потухшей во рту папиросой.

## 4

Утром псаломщик чувствовал себя скверно. Пока лежал на кровати, съездил мысленно в духовное училище на Колькины переэкзаменовки, израсходовал двенадцать рублей, домой вернулся расстроенный. Заглянул мысленно в братскую кружку, покачал головой.

— Образовывайся!

С горя пошел в церковную сторожку. Выпил у сторожа заготовленную порцию — захотелось пожаловаться. Жаловаться было некому. Выкурил пару папирос, потащился домой.

Павлик с Ленкой занимался своим делом. Ленка проводила маленькую куклу в гости к большой кукле. Павлик на полу обучал щенка подавать поноску.

— Микадо, пиль!

Кольке тоже хотелось покувыркаться вместе с щенком, выкинуть что-нибудь смешное. А когда вспомнил про табель, становился взрослым, и вся жизнь с воробьями, с воробьиными гнездами, беззаботным беганьем по лесу и купаньем в реке больше не радовала.

Псаломщик составил в уме коротенькое наставление, которое должно подействовать на Кольку, а в будущем пригодится и Павлику с Ленкой. Начал с плохого житья, остановился на духовном училище. Объяснил, что такое образование, сколько оно стоит, и как нехорошо лениться, не слушаться родителей.



Тут псаломщица учуяла знакомый запах, начала пересчитывать пропитые гривенники, пятаки, двугривенные. Их оказалось много, и псаломщику представилась огромная куча погубленного серебра. От жалости к нему сердито сказал:

— Ладно, не расстраивай!

Псаломщица начала обменивать пропитые деньги на домашние вещи. И вещей оказалось много. Увидел себя псаломщик окруженным новыми сапогами, шляпами, рубашками, крикнул:

— Брось!

Вышел на крыльцо.

Итти было некуда.

Повертелся около палисадника, снова потащился в церковную сторожку. Выпил порцию, крикнул. Сердце кипело обидой на учителей, поставивших двойки.

— Ну, не подлецы ли? Что бы тройку поставить!

Домой вернулся перед вечером. Зашел в крошечное зальце, подозрительно огляделся. Около перегородки стояла приданная этажерка с перебитыми стеклами. Единственным богатством выглядывала уцелевшая полдюжина чайных ложек. Остальное бито, стерто. Подошел поближе, увидал молодцеватого франта с дымящейся папиросой в зубах, примазанного на стенку этажерки. Посмотрел на него уничтожающим взглядом.

— Покуриваешь? А если я тебя вот так?

Рассердился, оторвал франту бумажную голову.

И этого мало.

Хотелось поссориться.

В углу между стульями Ленка разложила коробочки. Посмотрел на них псаломщик, подумал:

— Нельзя ли с коробочками поругаться?

Коробочки оказались не просто коробочками, а бакалейной лавочкой. Тряпичная кукла в голубом платье продавала, фарфоровая кукла с резиновой куклой покупали. Товар в лавочке самый разнообразный: сахар, пуговицы, булавки, спички, окурки и псаломщиков мундштук, попавший сюда из табачной коробки.

Вспомнилось псаломщику детство свое, улыбнулся. Не заметил, как повисла на бороде у него маленькая тощая слезинка от радости и обиды.

— Ленка, иди я тебя поцелую!..

1915



## СРЕДИ ОПОЛЧЕНЦЕВ

### 1

**Е**дем. Лошади трусят не спеша. На полях осенняя пустошь. Посевы сняты, травы скошены. Небо хмурое. Десять часов утра.

Яков в чепанишке с поднятым воротником. Лица не видать, голоса не слышно. У него горе: дома оставил больную жену. Это раз. А второе горе — боится: непременно будет ошибаться в строю, путать ряды, отвечать невпопад.

Остальные сидят на узлах.

Прокофий шелушит семечки. Сначала все обертывался, снимал фуражку, кланялся мужикам у околицы, бабам. А когда перевалил бугорок — позади осталась одна колокольня с полинявшим крестом. Кланяться больше некому. Вытащил зернышко из кармана — разманило. Вытащил штук пять — еще захотелось.

— Щелкаешь, Яша?

— А чего же делать? Я нарочно больше насыпал. Хочешь?

— Об домишке не думаешь?

— Толку мало. Лучше этого не выдумаешь.

Отплевывая шелуху, добавляет:

— Теперь нельзя думать.

— Почему?

— Вошь может навалиться—съест...

Сорокин с Гришковым пересчитывают деньги, собранные на прощанье от мужиков с бабами.

— Сколько?

— Рупь сорок четыре.

Сорокину завидно.

— Здорово тебе клюнуло нынче!

— А тебе?

— На гривенник меньше.

Смеются.

За Шершавиным вражком останавливаемся поить лошадей. Там уже два тарантаса стоят, две телеги, подъехавших раньше из Висловки. Лошади в оглоблях отзвужданы. Пофыркивая, стучат колечками дуг, жадно скоблят мокрую луговину. На телеге, свернувшись, лежит собака около мешка с сухарями. Паренек-гармонист разделявает „Сени“.

— А ну-ка „Варяга“, Костя!

Костя раздувает мехи на „Варяга“.

В стороне мечут „орла“.

В кругу виднеется серебро с медью. Недостает еще шмыгающих под ногами ребятишек, румяных разряженных девок, катающих яйца, а то бы настоящий праздник.

— Игроки!—шепчет Щетинкин.—Не связывайся.

А у самого в глазах играет при виде чужого азарта, рука незаметно лезет в карман.

— Это вон Синьковы двое. Тятю с мамой проиграют...

— К поезду не опоздаем?—спрашивает Прокофий.

Синьковы кричат:

— Подставь, не опоздаем.

— А ежели проиграешь вам?

— Проиграешь—назад отдадим.

Прокофий решает попробовать. Вынимая деньги, загадывает: „Выиграю рупь, снимусь на карточку“.

На первый раз — таланит ему. Бросает пятак, поднимает два.

Николаю тоже хочется выбросить один, поднять два. Отворачивается, распаковывает узелок.

Дорога за колодцем на изволок.

Возчики идут возле оглобель, ополченцы—стороной. Подвод восемь. Растянулись целым обозом. Вислинский Норкин в резиновых калошах рассказывает:

— Если боишься, никогда не выиграешь.

Синьковы подтверждают.

Николай выиграл двенадцать копеек, беспричинно смеется. Яков шагает молча, обкусывая соломку. Щетинкин подтрунивает

над проигравшим Прокофьем. Костя-гармонист наигрывает частушку:

Ты ли меня, я ли тебя из кувшина,  
Ты ли меня, я ли тебя из ведра...

## 2

На вокзале тревога.

Время притти поезду, а поезда нет. Кто-то пустил слух: поезд почтовый, мужиков не берет. Придется ждать „телячьего“, который будет не раньше двенадцати ночи. Народ шумит.

— А ежели у меня двух сыновей на войну угоняют? Это как? Я ведь не на толчок еду — сыновей провозать...

— Опоздаем! Жди, когда подъедет, а утром солдатам погрузка на Сызрань.

Старик-бакалейщик успокаивает:

— Возьмут. Деньги заплатишь, как не возьмут?

— Это мы и без тебя знаем — за деньги в рай пускают.

А ежели я так хочу?

— Без денег нельзя.

— Нет, можно...

Ополченцам тоже сказали дома: повезут бесплатно. А теперь выходит: не только бесплатно, — и за деньги могут не взять, потому что почтовый не для мужиков.

Прокофий первый обижается на такие порядки.

— Это что за новости придумали? Жена ко мне вздумает приехать, али бы мама — тоже за деньги?

— Выходит эдак вот.

— Не правило.

Около Прокофья толпа не желающих ехать за деньги.

— Кто еще к солдатам едет?

— Ты, тетка, к солдатам?

— Нет, я по своему делу.

— Примыкай заодно, в окошко не выкинут...

Синьков насмешливо кричит:

— Вон едет к солдатам!

На платформу входит старик с перекинутым мешком на плече.

— К сыну, что ли, дедушка? Беги сюда скорее, деньги раздают...

С устатку старик не понимает. Услыша про деньги, бросается вперед. По дороге задевает ногами за чей-то мешок. Свой мешок летит в одну сторону, сам—в другую. Норкин, поднимая мешок, говорит:

— Ничего, дедушка, в другой раз не упадешь. Заживет до свадьбы.

В шесть часов подходит поезд.

— Не отставай, ребята, дружнее!

Когда поезд останавливается на линии, вытянув мертвый изогнутый хвост, мешочная публика облепляет вагоны. Мужик сшибает в темноте барыню, вышедшую купить пирожков. Прокофий вламывается в вагон первого класса, перепуганный несется назад.

— Нельзя, нельзя сюда!

— Мы ополченцы.

— Все равно нельзя: служебный здесь.

— Ты не толкайся, милоч! Мне семьдесят два года, я постарше тебя.

— Чей это арбуз валяется?

— Эй, вы, кто арбуз потерял?

— Постой, я пролезу!

— Не наваливай!

Поезд ждет недолго.

Задние обгоняют передних, передние не пускают задних.

В вагонах теснота. Курящие и некурящие. Дамы из Петербурга, каменщики из Симбирской губернии, учащая молодежь, торговое татарье. Наверху на полках — китайцы. Сидят согнутые, под самым потолком, ошпаренные духотой.

Внизу давка.

Перебрасывают мешок, не имеющий места. Изумленный татарин „купча“ стаскивает мешок с своей полки.

— Чья багаж? Нельзя ява тут!

— Не швыряй, не швыряй! Можя, в нем яйца, а ты швыряешь...

Яков с Щетинкиным смотрят на китайца.

— Коса-то какая, как у бабы!

Щетинкин осторожно берет китайский башмак. Морщится, плюет себе на руки.

— Нехорошо?

— Понюхай.

Николай говорит по-„китайски“:

— Сиванся—криванся—монпанся...

— Чего это ты спрашиваешь?—допытывается Щетинкин.

— Спрашиваю, куда, мол, едете. В Оренбург, говорит, грешки продавать.

— Болтай больше!

— Спроси.

Хохот.

Прокофий примостился около студента на нижней полке, аппетитно выплевывает семечки. Студент вздыхает, и Прокофий вздыхает.

— Не из солдатов будешь?

— А ты?

— Вроде этого. Ополченец я с девятого года.

Мужик в темноте рассказывает:

— Пишет он оттудова. Были мы, тятя, у Австрии. Народ здесь зажиточный, хлебопашеством не занимаются. Едят больше мясное.

А рядом другой разговор:

— Ну, и немец-шельма. Выдумал, понимаешь ты, пушку. Одно ядро, не соврать бы тебе, пудов шестьдесят.

— Штучка с ручкой!

— На пятнадцать верст плюется.

— На пятнадцать?

— Да. Как ударит—щепки.

Поезд бежит под уклон:

— Тра-та-та! Тра-та-та!

Плывут, кувыркаются будки. Гремят, трясутся мосты на овражках.

### 3

Сегодня подружился с австрийцами, щупали сукно на мундирах, видели австрийские кроны с головой Франца-Иосифа. Переночевали в городе ночью, проснулись раненько, по-деревенски. А просыпаться в городе по-деревенски, раненько, не к чему: делать нечего, итти некуда. У ворот никто не стоит



и на гумно никто не едет. Посмеялись над собой, загрустили.

— Идемте на вокзал. Можя, немцев пленных увидим.

Нашли австрийцев.

Их шесть человек. Один — постарше, с черной бородкой, остальные помоложе. Двое совсем ребятишки безусые. Старший посасывал трубочку. Младший прижимал левый бок. Показывал потом маленькую заштопанную дырочку на мундире и грязное пятно от запекшейся крови.

Дружба началась с семечек.

Вытащил Прокофий из кармана горсть, подал молоденькому.

— Скушно, чай? Держи!

Молоденький улыбнулся. Прокофий еще вытащил, подал другим. А когда семечки разошлись по рукам и одному не достало, Прокофий добродушно выворотил карманы.

— Все!

Австрийцы растрогались.

— Спá-сибо, спá-сибо.

У Николая нашлись „лишние“ папиросы, подал их пленным. Сорокин вытащил пятачок, Гришков — гривну. Яков отдал перчатки с себя, пару сдобных лепешек.

Опять австрийцы прижимали руки к сердцу.

— Спá-сибо, спá-сибо.

— А ведь это они по-нашему!

Щетинкин начал придумывать разговор.

— Дети есть?

Австрийцы развели руками.

— Говорить умеете?

— Не. Русский не. Галиция.

Прокофий взялся переводить:

— Это он у тебя спрашивает про детей. Эдакие вот есть?

Показал рукой на аршин от полу. Потом снял фуражку с головы, начал баюкать, как мать баюкает ребенка на груди.

Старший понял скорее других, утвердительно закивал головой.

Прокофий показал два пальца.

— Сколько? Двое, что ли?

Австриец поднял три пальца.

В полчаса успели наговориться, как следует. Если и не все поняли из слов, то поняли и расспросили на удивительном языке из всевозможных жестов и движений. А русский человек прекрасно объясняется этим языком со всеми народами Европы и Азии.

И сердцем поняли друг друга.

У всех одинаковое горе.

Простились с австрийцами просто, задушевно, как с одинаковыми людьми по несчастью, близкими по человечеству...

## СТРАХ

### 1

Осенью в Селезневскую школу приехал новый учитель. Привез его со станции мужик Михайла, а на другой день все узнали, что пальто у учителя „не суконное“, калоши — только слава одна.

Михайла рассказывал.

— Иные едут — корзиночки с собой разные везут, сундучки, чемоданчики, а этот выскочил, словно кулик из-под кочки, — и весь тут. Бегаёт по станции, ищет попутчиков.

Больше всех узнала псаломщица.

Ночью она подходила к школе, заглядывала в окно. И хотя окно было прикрыто газетой, но она „своими глазами“ видела, как учитель на полу рвал какие-то бумаги, торопливо совал их в топившуюся печку. Псаломщица сразу догадалась, что бумаги запрещенные, сообщила мужу. Петр Николаевич тоже сразу догадался, что бумаги запрещенные, сделал таинственный вывод:

— Политика!

Жену предупредил:

— Ты, Анюта, не распространяйся. Свяжешься — не разделяешься.

Утром была заказная служба.

Петр Николаевич чувствовал себя на ножах: секрет не давал ему покоя. Пока шла утренняя, получилась целая картина: обыск, полиция, тюрьма, каторжные работы... Зашел он после утрени в алтарь, осторожно начал сдувать пылинки с жертвенника.

— Слышали, батюшка, учитель наш?..

— А что?

— Вы ничего не знаете?

Петр Николаевич таинственно изогнулся.

— Я тоже сначала не верил. Ерунда! А жена божится. Стою, говорит, у окошка, а он их тискает...

— Значит, из красных?

— Наверное.

Обедню служил рассеянно.

После обедни о. Григорий сказал:

— По-моему; пустяки про учителя. Какие там бумаги?

Петр Николаевич обиделся.

— Помилуйте, батюшка. Если вы намекаете на письма, тут совсем не письмами пахнет. Главное, зачем их в огонь? И окно закрыто...

— Да, пожалуй.

За обедом о. Григорий сообщил матушке:

— Слышала, Маня, учитель наш?..

Матушка слышала от псаломщицы.

И еще одна причина оказалась: учитель почему-то не показывался, а по ночам у него горела привернутая лампа. Что делает — неизвестно. Что за человек — тоже никому неизвестно. Может быть, подкапывается?

Расхаживая ночью около школы, о. Григорий подолгу смотрел в окно занавешенное.

Спалось дурно.

Петру Николаевичу виделись нехорошие сны.

Сидит будто на крылечке у себя, ничего не знает. Вдруг — стражники и прямо к Петру Николаевичу.

— Вот, этот самый...

## 2

Прошло две недели.

Пришел в школу о. Григорий, заглянул к учителю. Разговорились. О. Григорий пожаловался на безденежье. Тут о. Григорий заметил на столе знакомую открытку; сердце дрогнуло в предчувствии недоброго.

— Это что у вас — Толстой?

— Да, Лев Николаевич! Для украшения поставил.

— Хорошее украшеньё. О чем философствуете с ним?

— Я, знаете ли, мало знаком с произведениями Льва Николаевича. Читал когда-то...

О. Григорий подозрительно поглядел на учителя.

— Напрасно!

— Я, вообще, мало читаю: книг нет...

О. Григорий вздохнул.

— Выписать надо. Я сам любитель чтения...

Взял он в руки открытку, повертел, поморщился, стукнул пальцем в широкий толстовский лоб.

— Мыслитель! Вы не последователь?

Учитель улыбнулся.

— Я не толстовец, батюшка.

— А кто же?

— Просто учитель.

О. Григорий сердито сказал:

— Зачем вы скрываетесь? Мне, конечно, не нужно, воля ваша, но я бы советовал вам подальше от него...

— Почему?

— Потому что он—Толстой, еретик, отлученный от церкви, а вы служите в церковно-приходской школе. Может быть, детям внушаете? Я считаю своей обязанностью предупредить вас...

Учитель пожал плечами.

— Вы шутите, батюшка! Неужели и карточку преступно держать?

— Не будем об этом говорить, но, строго рассуждая, держать ее вы не должны. Впрочем, как хотите. Моя хата с краю. Что никогда не заходите? С Толстым все беседуете?

### 3

Слушок про учителя докатился до благочинного.

Благочинный человек строгий и действует сразу. Услыхал он, что „учитель в Селезневской школе занимается чтением нелегальных брошюр“, немедленно написал о. Григорию.

— Мне известно из достоверных источников, что учитель вверенной вам школы личность подозрительная во всех отношениях, а потому предлагаю...

О. Григорий возмутился:

— Вот! Сами назначут, потом предлагают.

Попадья ворчала:

— Нажили сокровище!

Начал о. Григорий перехватывать учительвы письма, но в письмах ничего обличающего не было. В школе как-то на уроке закона божия спросил он учеников старшего отделения, чтобы докопаться до тайны:

— А ну-ка, ребята, кто мне расскажет про Толстого? Чему он нас учил?

Ребята переглянулись.

— Что, забыли? Разве вам учитель не рассказывал? Ты, мальчик, помнишь? Да граф это был... Лев Толстой... Лев Николаевич. Книжки писал, народ учил разному эдакому... Ну?

Ребята смотрели на батюшку удивленно. Влетит им за Толстого. Не иначе, это пророк был вроде Ильи с Елисеем, а они забыли. Самый бойкий поднял руку. Вслед за ним подняли руки и еще несколько человек.

О. Григорий торжествовал.

— Ну, вот и вспомнили. Расскажи нам, Козин!

Ободренный Козин весело начал:

— Пророк Толстой был праведной жизни, писал божественные книжки...

О. Григорий закричал:

— Кто? Кто? Пророк? Разве он пророк?

Козин поправился:

— Царь!

— Врешь, дурак, и не царь. Какой он царь? Граф! Где он жил? Ну-ка ты, девочка, помнишь?

Зайкаясь, тоненьким голоском девочка запела:

— А...г...раф Толстов жил в царстве иудейском...

Расстроился о. Григорий, рассердился и урока не кончил. На пути до дому попался ему псаломщик, хотел сообщить новенькое, но о. Григорий только руками замахал:

— Чего еще? Ну? Чего? Выдумщики!..



1916





## Д Е Т И

### 1

Учитель Муханцев лежал на кровати. В уголку над ним висела раскинутая кисея паутины. В маленькой столовой с одним окном тускло горела керосиновая лампа. Шумел самовар. За столом сидела жена Муханцева с двумя ребятишками, одного из них кормила кашей. Другой, постарше, пристально смотрел ей в глаза. На сундуке напротив сидела кошка, лапой манила гостей. Гостям бывают не всегда рады, и кошку пришлось потревожить. С насиженного места она перешла на другое. Наелся маленький, захотелось поиграть. Ловко вывернулся из пеленок, на щеках устроил ямочки. Игра была не ко времени. Мать понесла его в люльку. Не понравилось маленькому — заплакал.

Опять лежал вверх лицом Муханцев, потревоженный криком. Мысли путались.

В спальную заглянула жена.

— Не спишь, Петя?

— Не спится.

Вдохнула Муханцева, погладила по голове мужа. Хотелось сказать ласковое, успокоить. В это время проснулся маленький. Пока трясла на руках его, жалостливо пела про серого зайчика, вместо ласкового запросилось тоскливое. Взяла Муханцева мужнину руку, положила себе на живот.

— Там опять кто-то есть...

Муханцеву стало тяжело.

Он уже не лежал, а сидел, зажав ладонью левое ухо торопливо нашаривал спички. Жадно блеснул огоньком папиросы.

— Ты не ошиблась?

Жена не стала уверять, что она не ошиблась, но рассказала приметы. Муханцев вздохнул.

— Это наказание, Катя!

У жены от обиды выступили слезы.

Стало жалко ее, жалко самого себя. Глаза у обоих потухли.

## 2

Когда Муханцев задумал жить по-семейному, желал он в будущем только одного ребенка. Так и жене сказал:

— Мы должны подумать о детях. Лет через десять малышей придется выводить на дорогу, а дороги не везде открыты для нашего брата. Пусть будет один. Одного как-нибудь дотащим.

Через десять месяцев появился ребенок.

Ждали его несколько попозже, но в общем встретили хорошо. Приготовили холодное из поросенка, зажарили гуся, напекли пирогов. Кроме водки, запасли бутылку коньяку с двумя звездочками. Новорожденный хотя и мужицкого происхождения был, но все-таки сын учителя, получающего тридцать рублей в месяц.

На обед съехались приятели из соседних деревень, выразительно трясли Муханцеву руку, дружески хлопали по плечу, поздравляли с наследником. Муханцев тоже выразительно тряс каждому руку, приветствовал, улыбался.

— Прошу, господа! Проходите.

Когда опорожненные бутылки перестали кланяться, их заменили другими. Гости начали задевать локтями друг друга, заговорили громче. У юловского учителя явилась мысль высказать что-нибудь вроде пожелания новорожденному мальчишке.

— Эй, ты, как тебя? Колька! Расти. Вырастешь большой, не мошенничай. Разбогатеешь, не забывай родителей и нас тоже. Здравствуй! Пью за твое будущее.

Муханцев торжественно заявил:

— Да, господа, я положу все силы, но сын мой будет учиться в гимназии.

Виновата ли рябиновая с коньяком, но гости поверили, одобрительно зашумели. Больше всех поверил сам Муханцев.

А в общем это был очень веселый день. Разговоры сменялись песнями, песни — шутками. Веселью, казалось, не будет конца.

## 3

В первое время Колька часто просыпался, бесцеремонно кричал по ночам. Муханцев говорил жене:

— Погоди, Катя, пусть покричит. Право же, это так забавно. Я, по крайней мере, до сих пор не привык к мысли, что у меня ребенок. Не было — и вдруг ребенок. Лежит, швыряется... Потом будет ходить, вырастет, станет учиться...

Приятно было, что из Кольки может вырасти человек, и даже не такой, как сам Муханцев, как все те, которых видел и знал...

В веселые минуты радовался:

— Расти, сынок, расти. Вырастешь, учиться отдам тебя в гимназию.

Научился Колька сидеть, ползать, обсасывать корки.

В это время родился второй сын — Сережка.

Этого совсем не ждали, удивились и, как „ошибочного“, встретили плохо: без песен, без пирогов и рябиновки.

Но все-таки встретили.

Нельзя было не встретить.

Уступили ему Колькину люльку, пару отцовских рубах на пеленки.

Отец частенько советовал ему умереть:

— Умри, брат, лучше будет.

А Сережке не хотелось умирать.

Щеки у него были красные, голос звонкий, легкие здоровые. Кричал, когда забывали о нем, громко, словно заблудившийся в лугах жеребенок. Отец с матерью ждали нечаянной смерти. Но и смерть не всегда отзывчива, а от болезней Сережка отделялся криком.

Вырос у него сначала один зуб, потом — сразу два. Оставалось только на ноги встать и выйти на улицу — посмотреть, что там делается.

Отец был недоволен и опять говорил, как прежде:

— А все-таки лучше умереть тебе. После не раскаивайся...

## 4

В палисаднике напротив жил о. Веденей.

Было у него два сына и три дочери. Учились в гимназии.

Хороший был поп о. Веденей.

Когда проповеди говорил, бабы роняли слезы, мужики смотрели вниз, уличенные в грехах.

За двадцать лет священства Веденей научился проделывать и не такие штуки. А заглядывал в душу себе, говорил:

— Пусто, Веденей, разграблено.

Верно.

В душе было пусто.

Но не себя винил Веденей.

Два сына и три дочери во всем виноваты. Грабили они из года в год и сделали душу Веденею похожей на пустую житницу. Незаметно, по зернышку вытекла пшеница.

Заботы о детях мучили, как тощие, голодные мухи. Ходили по двору за ним, провожали на похоронах, сторожили в послеобеденный отдых, мешали молиться.

— Народил — воспитывай.

А воспитывать — значит вывести на дорогу.

Проще:

Дети должны быть не просто люди, а вроде чиновников над людьми с трехтысячным жалованьем в год.

Тут нужны дипломы.

Дипломы дают гимназии, университеты.

Проще:

Дипломы дают образование.

Для образования нужны деньги.

Настойчивый человек Веденей. Как пыль из мешка, выкалывал он деньги из всех уголков погубленной жизни.

— Ничего не поделаешь... Дети. Воспитывать надо.

Когда были маленькие, Веденею хотелось заготовить для них, припасти, пока сам молодой. Стали дети подрастать, сам Веденей начал стариться. Опять сколачивал деньги — уже для себя. Боялся: забудут его дети.

Так и прошла вся жизнь под давлением неясного, темного страха.

Не заметил, как состарелся, как выросли дочери.

Птицы жили — радовались.

Травы, насекомые жили — радовались, обогретые солнцем.

Только Веденей охал да ворчал, думал о детях:

— А ну, если в люди не выйдут?

— А ну, если забудут меня?

Жизнь у Веденея длинная, сорокавосемилетняя — огромный короб, набитый тряпьем. И жалобы, и кляузы. Длинные вечера и бесцветные дни — мятые осенние листья. Все сложено в кучу. Целая история человеческой бедности.

## 5

Муханцев часто поглядывал на пять окошек поповского дома. Своя жизнь в двух комнатах казалась маленькой, обиженной девочкой, обнажившей наготу.

Веденей говорил ему:

— Дуй в попы, сытнее будет. Голос у тебя позволяющий, и я порекомендую. Ты все мораль разводишь. Сидишь в своей скворечнице и чиликаешь. Плюнь!

Смущался Муханцев, благодарил.

— Спасибо, я подумаю...

Веденей сердился.

— Чего думать? Закрой глаза и прыгни. Землю копать — до воды докопаешься, и думать будешь — додумаешься до неприятностей. Я тоже так когда-то... Туда, сюда — никуда. Кабы одному жить? А то молодое дело — детишки родятся. Сложи их: один да один — два, да в уме два. Сколько тут?

## 6

Ночью шел снег, к утру натащило сугробы.

Муханцеву надоело лежать за перегородкой, вышел на улицу. Светились утренние огни в избах, зябко скрипели журавли колодцев, постукивали ведра. Над белыми крышами кудрявился легкий дымок.

У ворот через три двора стоял сосед с лопатой в руке.

Разговорились.

Сосед рассказал про черную овцу, которая нынешней ночью принесла ему барана да ярку. Рассказал про яровую мякину: лошади хорошо с нее поправляются, если поить их почаще.

Обо всем рассказывал, что составляло радость и печаль его жизни, не жаловался. Хорошее принимал с благодарностью, от плохого не плакал. Знал: не бывает хорошего без плохого. По одной дороге идут они, только в разное время: одно впереди, другое позади.

Муханцев спросил:

— А дети есть у тебя?

Сосед улыбнулся.

— Хлеб не каждый год родится, дети — аккуратно.

— Большие?

— Всякие есть: большие и маленькие.

— У меня тоже двое, — вздохнул Муханцев. — Трудно бедным жить, учить надо ребятишек.

— Ничего, я не завидую. Бедность, как вода: побудет на одном месте, течет на другое. Отошел я от отца, была у меня одна избенка, а теперь две лошади, корова и десять овец. Откуда зашли? В прошлом году лошадь пала. Ну, думаю, капут. Потом говорю: ладно. Будут руки — и лошадь будет. Бедность тут не при чем...

А Муханцев думал:

— Живет человек под одним солнцем со мной, а жизнь у него непохожа на мою. Его радует, меня пугает. Чем я болен?

Жене Муханцев показался другим, когда вернулся домой.

— Что с тобой?

— Ничего, я так.

Сел верхом на табуретку, шапку запрокинул.

— На улицу выходил. Хорошо!

Жена держала в одной руке зажженную лучину, в другой — самоварную трубу.

— Самовар разжигаешь? Ну, разожги.

Разожгла, посмотрела на него вопросительно.

— Сядь рядом со мной, посиди.

Взял женину руку Муханцев, легонько погладил.

— Хандрю все.

Голос был тихий, лицо печальное.

— Слабый я, помоги мне. Хочу по-новому жить, проще...

У жены вспыхнули щеки.

Благодарная за веру в женские силы, ласково прижалась, как девушка.

Вошли за перегородку.

Старший, Николай лежал на кровати, разруганный до самых ушей. Младший Сережка в люльке спал. Четко выглядывал тоненький нос с приподнятой верхней губой. Мягко лежал темный венчик волосенок. А под люлькой стояла раскрашенная лошадь с картонными боками.

Представил Муханцев ребятшек мертвыми в узеньких гробиках из тонких дощечек. Представил себя и жену шагающими с кладбища. Вошел мысленно в бедную пустую комнату, налитую мертвой тишиной, — в глазах защекотал.

Вдохнул Муханцев облегченно, тихо сказал спящим ребятишкам:

— Простите меня, Христа-ради.

Потом жене сказал:

— Смерти желаю им, а что мне останется, если оба умрут? Одному умереть? Но которому? Погляди, какие у них хорошенькие ямочки на щеках.

Жена заплакала.

— Ты не плачь. Плакать-то я должен. Сам мучаюсь и тебя мучаю, а люди проще живут и радости больше у них.

Пока плакала жена, склонившись над Сережкой в люльке, Муханцев думал. Потом решительно сказал:

— Ладно, будем жить. И ребята будут жить. Ни один не должен умереть...



## РАДОСТЬ

### 1

До Крутоярихи шесть верст. Попутчиков на станции не было. Ждать, когда будут, не хватало терпения. Василий отправился пешком. Рана у него была не тяжелая — пробита кисть левой руки, — ходьбе не мешала. Уставший от тряски, от шума, от вагонной толкотни в поезде, он с особенным, давно неиспытанным удовольствием окунулся в вокзальную тишину, и подпрыгивая, сбиваясь в походке, торопливо пошел межником, минуя пыльный, наломанный проселок.

Солнце, прикрытое тучкой, не жгло, не палило. Воздух растекался бодрый, степной, с запахом скошенных трав. Под ногами трещали кузнечики. За спиной беспокойно кружились бабочки, залетая вперед. За бабочками гнались комары. Вверху звенел жаворонок. Распластавшись, висел, опускаясь над пашнями, ястреб. На посевах чернелись неясные точки людей. Слева выглядывала колокольня, на раздорожья, погнувшись, стояла часовня, останавливая пешеходов. Впереди, придавленная тишиной, дремала сама Крутояриха.

Сердце забилось сильнее.

Обессиленный радостью, родными местами, Василий остановился, не в силах итти дальше. Когда отыскал глазами среди построек свою избу с задрвшимся кверху хохлом, дышать стало трудно. Прижимая здоровой рукой грудь, чтобы успокоить сердце, а больную держа на косынке, простоял он так несколько минут, слегка наклонившись вперед.

В Крутоярихе было попрежнему.

Летняя тишина на пустующих дворях, ненужные в поле ребята, ползающие у завалин. Стаи воробьев перелетали с места на место, на припеке сидели старухи-домоседки. Новых построек не прибавилось, старые тоже не успели измениться так, чтобы их не узнать.

Хотелось Василью появиться в доме неожиданно, пошел задами. Перелезая через плетень на своем огороде, задержался на нем, долго оглядывался по сторонам.

Рявкали телок на приколе, тоненьким голосом плакал ребенок в избе. Шумели воробьи в коноплянниках, растились куры на дворях. Вдоль плетней, вытянув шею, ползла дымчатая кошка, поблескивая глазами. Моталось чучело, пугающее воробьев.

В одном углу огорода росла картофель, в другом — капуста. К ним приткнулась грядка моркови с огурцами. По бокам стояли длинноногие, большеголовые подсолнухи.

Радость, как молодая хмелинка, обвила застучавшее сердце, вспыхнула на лице.

Во дворе около колоды стоял почерневший плужок, опрокинутый колесами вверх. На плужке лежал оральный комут с вытянутыми гужами, мучное ведро с прошибленным дном. Из-под колоды с гнезда выглядывала желтая курица, удивленная появлением незнакомого человека.

Василий подумал:

— Все еще жива! Наверное, несется!

Рядом бродила наседка с цыплятами.

— Наши! — опять подумал Василий. — Позднячки.

Начал пересчитывать их.

— Восемь штук. Это хорошо.

По перекладу кружил сизый зобастый голубь около присмирившей голубки, что-то рассказывал ей, на что-то сердился, взмахивал крыльями. Другая сидела поодаль с прищуренными глазами. Сверху вниз висели солнечные нитки, играя узорами. Переливаясь, дрожала пыльца мягким воздушным кольцом.

Улыбаясь голубям, солнечным ниткам, желтой курице и всей этой жизни, ласково принявшей его, Василий заглянул в хлевушки, потрогал плужок, покружился и, растроганный, вошел на крылечко.

## 2

Через час сидел за столом в переднем углу, держал на здоровой руке трехлетнего сына. Рядом по левую сторону сидел старший Михаил, десяти лет, самый главный работник. Справа — Аниска, помоложе Михаила. Рядом с Аниской Васильев отец, живущий в отделе с другим сыном, Семеном, и сам Семен в розовой рубашке. Дальше — родственники. Васильева баба в чистенькой кофте с брыжами подавала к столу. Она уже отплакалась, лицо было спокойное. Только в глазах, при взгляде на мужа, вспыхивали теплые, мягкие искры.

На столе вокруг самовара лежала рыба, крендели. Брат Семен гвоздем откупоривал бутылки с лимонадом. Пробки из-под гвоздя ухали как маленькие ружья, лимонад разлетался во все стороны... Бабы жались друг к другу, облитые утирались передниками. Говорили сразу в несколько голосов. Василий повторялся и рассказывал то, что было рассказано не один раз.

Когда лежал в лазарете, он писал об этом, но тогда выходило коротко, как будто и сказать не о чем было. Домой приходили только поклоны.

Сестрин муж Сергунька волновался больше всех.

— Ну, что, страшно там?

— Вначале только, потом ничего. Идешь и не видишь. Иногда спать хочется. Бросил бы все и уснул. В штыки мы раз ходили. Бегу — и не вижу. Ткнул кого-то — опаматовался. Он упал — и я упал, зашибленный прикладом.

Прислушивался Василий к своему голосу и не верил.

Голос был не его.

Рассказывал кто-то другой, а он только прислушивался вместе с другими и тоже удивлялся. Раньше вспоминал об этом — было страшно. А теперь совсем не страшно.

На столе горела керосиновая лампа. Узенькая полоса от нее дрожала бессильным, негреющим светом. В раскрытое окно собирались бабочки, мошки, жучки, кружились в запутанной пляске. За стеной кашляли овцы, чесались лошади около калитки. Улицей медленно шли запоздавшие гуси, широко расставляя ноги. В темноте казалось, что это не гуси, а белая живая дорожка, изогнутая вправо и влево.

Михаил подпоясывался кушаком, собираясь в ночное.

Василью трудно было удержаться на месте, пошел проводить его. Погладил гнедого, опустившего голову, поздоровался с ним.

— Не узнаешь меня?

Гнедой устал сегодня.

Утром, когда уезжали в поле, запрягали в телегу его, и вечером, когда возвращались обратно, — тоже запрягали его. Поле было дальнее, дорога песчаная. До обеда таскал борону, точно молоденький, после обеда начал останавливаться.

Михаил, подпоясанный кушаком, держал в поводу другую лошадь.

— погоди, подсажу! — крикнул отец, но Михаил уже сидел верхом.

— Не упадешь?

— Чай, не маленький.

И правда, Михаил как будто вырос, казался большим и серьезным.

Из ворот выехал шагом.

Ловко вцепился в поводья, ударил ногами; лошади затрусили.

Выбежала Жучка с колечком вместо хвоста, забежала вперед, кубарем покатила по улице.

Из-за гумен поднимался месяц.

Росло в Василье новое, сладко-волнующее сердце, но выразить словами не мог он. Невидимые ручейки протекли в жизни. Невидимые росы омыли ее, и приняла она его с хорошей улыбкой на старом знакомом лице.

Ночью, прикрытый дерюжкой, шептал он жене:

— Больно не тужи, Огня, проживем как-нибудь. Только бы здоровье вот. Я и с одной рукой оправлюсь. Думал, совсем не вернусь, не надеялся. Закрою глаза — тебя вижу. А ты будто поперешник высоко поднимешь, того и гляди лошадь упадет.

Агафья брала его голову на руку, гладила по волосам.

— А письма мои получала? Я восемь получил от тебя. В одном ты писала про лошадь: продавать или не надо? Я советовал не продавать, а ты опять пишешь: нужда. Помнишь?

— Трудно было мне. Не знала, что делать.

— Ну, теперь полегче будет.

И опять не верилось Василью.

Говорил кто-то другой за него, а он только вслушивался в неузнаваемый голос, улыбался и чувствовал: растет в нем светлая, детская радость, волнуется сердце...

## КОЙ О ЧЕМ

### 1

Гуняево не село и не деревня. Церковь без колоколов. Окна в школе зашиты досками, дверь на замке. Был учитель, увезли на войну, другого не шлют.

Живут гуняевцы будто хорошо, если издали посмотреть. Зайдешь к ним — тоска. Не верится, что можно так жить. Но люди живут этой жизнью не год и не два.

Курья избушка, как в сказке. Только тем и не похожа на сказочную: сказочная вертится, эта стоит неподвижно под глиняной крышей. Три окна: два — на улицу, одно — во двор. На дворе, вместо скотины, лежат две собаки на куче навоза. Живет овечий пастух. Самого нет, дома баба с ребятами. Их трое, она одна. Лицо у нее тупое, непонимающее — замучена горем. Из-под тряпья на печи смотрит как будто человек, а вместо лица — сплошные болячки, мокрые, грязные раны. И на руках у бабы тоже такое лицо. Третий пищит в зыбке, подвешенной к потолку.

— Что они у тебя — не годятся?

Баба машет рукой.

— На солдат не пожертвуешь?

— Каких солдат?

— На войне которые.

— А чего у меня есть?

Молча разглядываем друг друга.

Баба достает из печурки початый коробок спичек, сконфуженно тычет мне в руку.

— Возьмешь? Больше нечего.

Плачут ребята. Тороплюсь поскорей уйти.

Баба кричит из окна:

— А ты не фершал? Замучилась я с ними.

Рядом в избе одни ребятишки. Старшая — девочка лет десяти. Сидит за столом в одной рубашонке, кормит кашей из горшка братишку. На столе не прибрано, на полу не подметено. Сырость, пустота, сиротство. Около кровати теленок на привязи... Лениво сосет тряпку. С печи смотрит кот. Больших в доме нет. Отец на войне, мать умерла. Бабка, взвалившая на себя горе, ушла до соседей.

Останавливаюсь отдыхать.

Хозяева за обедом. Семья зажиточная. Скотоводы. Под сараем два плуга, конная жнейка. В сенях висят тушки баранины. Хозяин лежит на кровати под шубой, в глазах беспокойство. Говорят — простудился, а полечиться негде: доктора нет. В город ехать — далеко.

Спрашиваю старуху-мать:

— Плохо?

Трясет головой:

— Как и жить, не знаю. До хвори ли тут, а он лежит. Кашляет, плачет под кровать.

Терпение — великая вещь.

В этой жизни нужно терпение. Большое терпение и хоть немножечко веры, чтобы безропотно дойти до конца. Порвется терпенье, и церковь останется без колоколов. Война войной, а тут еще оспа. Переходит со двора во двор, косит ребят, уродует. Война не считается с оспой: увезли доктора, увезли и фельдшера. Осталась одна фельдшерица. Ей бы двадцать рук, а у нее только две, не знающие отдыха. Ребятишки валяются плахами. Потолще которые опять поднимаются, маленьких тащат на кладбище.

Мужиков не видно.

Вывернется старик из проулка, постоит с топором на плече, отыскивая починку, опять скроется. Как будто и починить ему нечего.

За околицей оборачиваюсь, долго гляжу на Гуняево. Село, как село. Две улицы по косогору. Журавли над колодцами. По бокам прилепились гуменники. Выше на бугре — недостроенная церковь. Издали хорошо.

## 2

Едем тихо.

Дорога мягкая, разбитая. Лошадь старая, с ленцой, топиться не любит. Задние ноги поднимает с трудом, копытами бороздит землю.

Октябрь.

По ночам падают росы, висят туманы, в полдень по-летнему солнце. Вдали чётко маячит песок, но кажется далеким, до него не добраться. Впереди мотается проселок, позади легкое курево пыли. Тишина. Легкий ветерок срывает паутину с почерневшего жилья, навевает осеннее. На межнике стоит ворона, накликающая сырость, провожает нас круглыми потревоженными глазами.

Герасим сидит, свесив ноги. Не поворачиваясь, говорит:

— Живу по-разному. Осенью ничего, зимой похуже, весной еще хуже.

— Почему?

— Очень просто. Осенью на купца похож, хлеб продаю, на базар езжу. За зиму проторговываюсь, к весне переваливаюсь из кулька в рогожку.

Смеемся.

— Не таланит мне. Зацеплюсь, зацеплюсь — рраз! Опять сорвалось. Лошадь вот. Под гору скачет, на гору плачет. Держать — толку мало, продать — не покупают. Видишь, какая?

— А об войне как думаешь?

— Как о ней думать! Много думать — сердцу тяжело, совсем не думать — тоже нельзя.

На дне овражка баба с возом. Рожь на базар везет. Передняя ось не выдержала — воз на боку. На возу привязана запасная ось, но бабьи силы не важные, да и сноровки нет, как у мужиков. Озирается баба по сторонам, помочь некому. Рядом мальчишка лет семи. Одет в шубу с загнутыми рукавами, голова под шапкой повязана платком. Лошадь выпряжена. В оглоблях свернулась собака. Баба стоит часа два, дожидается проезжающих. Смотрит на мальчишку, ползающего по луговине, на лошадь, повесившую голову.

Герасим говорит:



— Полюбуйся, вот и войну поймешь скорее...

Он деловой человек. По его расчету выходит: в два часа плохим шагом можно уехать восемь верст, а восемь верст — не шутка, особенно в октябре. Октябрь — ненадежный месяц. Тучки могут спуститься пониже, ветерок усилится, ударит слякоть. Тогда сорок верст до базара разрастутся до восьмидесяти.

Воз на ходу, но беда не приходит одна. Баба просит поглядеть у нее лошадь еще: останавливается что-то, нейдет.

Герасим немножко доктор.

Берет лошадь за уши, щупает в ноздрях, заходит с хвоста, неодобрительно крутит головой. Признаки нехорошие.

— Кабы доехать тебе. Напрасно поехала.

— Доеду, чай.

— Мытится она у тебя. Лучше бы обождать.

А нужда не любит ждать. Гонит в слякоть и холод, больных и здоровых. У бабы нужда. Муж-солдат просит прислать немного, и старшина просит уплатить немного. Соседям должна. И соседи теребят, как галки.

Кланяется баба, поправляет платок на голове, медленно вползает на изволок. Позади, согнувшись, шагает собака, шевеля ушами. Мальчишка на возу машет кнутом.

Герасим подстегивает свою лошадь.

— Теперь кто на нашем порядке остался? Я, Федор Гаврилыч, Евсей маленький, Архип-белобилетник, а баб на одного пятнадцать. Выйдешь на улицу — бабы, выедешь на поле — бабы.

Догоняем еще одну.

Идет, торопится. Дорога дальняя, ноги не слушаются. За спиной — на веревочке сумка холщевая.

Тоже солдатка.

Ездила в лазарет к больному мужу. Ехал он у нее на позиции, попал в лазарет. Сначала все писал — хорошо, не беспокойся, а через полмесяца пишет: плохой, приезжай повидаться. Не ехать — жалко, ехать не на что. А он опять пишет: навести на чужой стороне. Продала коровенку, поехала. Теперь раскаивается. Что толку? Думала утешиться и его утешить, вышло хуже. Приехала — не пускают: приходи завтра. Посидела, поплакала втихомолку, да с тем и уехала. Еще бы пожила —

деньги текут, ребятишки сердце рвут, осень пугает ненастьем. Потратилась, рассорила деньги, пока жила, теперь вот шагает домой. Шагать восемьдесят верст от железной дороги. Попутчиков нет. Шагнет и думает: зачем ездила? Легче не сделала, и коровы не стало...

Герасим сидит в полуоборот, со вздувшимся на спине полушубком. Лошадь забыта. С трусцы переходит на мелкий ковыряющий шаг, часто отфыркивается. Баба, посаженная на телегу, сидит понурая, застывшая. Глядя на ее закутанную голову, кажется, что это не баба, а большое неподвижное горе, поднятое на дороге... Оттого и лошадь тащит нас с великим трудом, и дорога кажется такой бесконечной. Плывим, кувыр-каемся с изволока на изволок, выбраться не можем.

Навстречу попадается бабий обоз с мужиком во главе. Мужик впереди похож на гусака, ведущего за собой стаю раскричавшейся птицы. Рядом с ним шагает Багаева солдатка Авдотья в мужских сапогах, подпоясанная кушаком. На ней мужнин пиджак, подмышкой кнутовище.

Мужик Яша, забракованный „на пункте“ ногами, кажется рядом с ней маленьким, смешным, неказистым. Бабы поют песни. Одна запеваёт, другие подхватывают. Лошади идут дружно, не отстают, телеги слегка поскрипывают. Поют бабы, раскидывая по сторонам прикопившееся горе, странно веселые в степной тишине. Идут, взявшись за руки, будто троицу встречают. Это молодухи, проводившие мужьев под Карпаты, сами хозяйки. Последняя на возу—пожилая. Время теплое, руки не зябнут. Из кармана тянется черная длинная нитка. В согнутых пальцах быстро работают спицы. Вязет чулок.

Герасим знает их. Поровнявшись, кричит:

— Яков у вас как султан!

— Вроде этого!

— На петуха немножко похож!

Лошади не останавливаются.

Бабы тянут в одну сторону, мы не спеша утекаем в другую.

И - вх, да миленький дружочек!

Говорю Герасиму:

— Не тужат!

Герасим вздыхает.

— Нам тужить нельзя. Начни тужить — тоска. Туда посмотришь — плохо, сюда посмотришь — нехорошо. А тоску таскать — что камень на шее. Ну, и шутишь, как будто нет ничего.

— Ты тоже шутишь?

— Бывает. Я как из хомутины выскочил, когда двоих сыновей проводил. Больно ударило по сердцу, а все-таки не падаю, держаться хочу... И слез от меня не увидишь...

— Характером, что ли, веселый?

— Будешь веселый. Расстройся попробуй — и хозяйство расстроится. А без хозяйства нашему брату — каюк. Думаешь-думаешь и скажешь: „Ладно. Горе — облачко. Накатит — и дальше пойдет. Живым не полезешь в могилу“.

Странные люди!

## БАБЬЯ ГАЗЕТА

На Аннушкиных хуторах появилась газета. Появлялась она здесь и раньше, но только с базара и в том виде, в каком посылал ее лавочник, завертывая „бакалей“. Целый лист брали девки на выкройки, лоскутья шли ребятишкам, отцам-трубокурам, и писанное в ней никто не читал. На нее смотрели как на забаву, которой забавляются господа от безделья, и до Аннушкиных хуторов она не касалась — так же, как они до нее.

Это — раньше.

Теперь за ней ездят на почту „нарочно“, заезжают по пути из больницы, и всегда около окошечка в почтовом отделении можно увидеть забежавшую наскоро бабу, спрашивающую у начальника:

— Газеты на нас не пришли?

Времена переменялись...

Читает газету Прокофий Гордеич Сусолин. Старик. У него белая голова, попорченное зрение, но умирать он еще не собирается. Раньше лежал на печи и делал учет сыновьям. Теперь надевает очки в оловянной оправе и делает учет мировым событиям. Старуха не очень довольна его поведением, но Прокофий Гордеич только посмеивается. Дескать, помалкивай: твое дело старушье... Ты пеки пироги, а я поеду за рыбой...

Вот какой человек.

Были сыновья дома, и не к чему было придрататься, все шло чин-чином. А как двинули их из Аннушкиных хуторов на разные фронты, двинулась и жизнь вместе с ними и со старой дороги сошла на другую. Стало ясно, что в жизни не все хорошо устроено... Есть что-то недоделанное, недоконченное, и это недоконченное мешает смотреть на нее ясными, веселыми глазами.

Волей-неволей пришлось ломать себе голову, и кой до чего Прокофий Гордеич додумался... Если верить ему, то все несчастья оттого, что любви нет в людях, а без любви, как без солнышка: не проживешь. Любовь цветка не растопчет и птицы не тронет.

— Немцы вот! — говорит старик, постукивая по газете, — умный народ, образованный и все будто знают... Спроси, сколько русских должны перебить — вот столько-то... Сколько снарядов должны выпустить — вот столько-то... Словно дрова укладывают в полусаженки... А вот сколько жизнь человеческая стоит — никто не подсчитал, и выходит, что она ничего не стоит... Дешевле, чем пуля...

Я смотрел на старика и думал:

— Голова у него старая, а мысли в ней новые... Это хорошо. Кому они только привьются, когда он умрет?

Старик продолжал:

— Тяжело мне с газетой... Разладился я... Думать начал... Горячиться... А отложу в сторону — скучно... Привык.

— Неужто горячишься?

— Бывает... Неправда везде и подвохи... Ткнет тебя в сердце-то чем-нибудь эдаким — и скачешь, как конь без оглобель... Обидно...

Старик переходит на тяготу жизни, но меня интересует не это. Мне хочется знать, где и как он раскопал газету. Кто заронил в него это зернышко. Я подхожу к этому вопросу осторожно, перевожу старика на другой разговор и узнаю от него вот что. Преемники у него есть. Не мужики, которых на Аннушкиных хуторах немного, и не подростки, которые идут ребячьей дорогой с гармошкой в руках, а бабы. Они же и зернышко в него заронили.

Я не поверил и принял все это за старую шутку над бабами, но старик не годился для шуток...

Дело было вот как. Когда побрали мужиков, жизнь на Аннушкиных хуторах долгое время катилась по инерции, и бабы, подавленные горем, не знали, за что им приняться, словно после покойника, отправленного на кладбище. Тянуло на слезы, на жалобы, хотелось поплакать, излиться в слезах. Но время не стояло на месте, и бабы увидели, что горе — горем, а в

жизни у них не все хорошо устроено. Прежде всего сказало отсутствие грамотных. Прислали мужья письма — читать некому. Вздумалось самим поболезновать с мужьями — писать некому. А тут пошли слухи из разных углов, словно течь из худого корыта. Едут люди с базара — везут с собой слухи. Идут из волости — тоже. Кому верить? Один говорит одно, другой — другое. Сидят бабы на Аннушкиных хуторах, как мыши в амбаре, и ничего не знают, ничего не видят... Слухи росли, а бабы, прислушиваясь к ним, волновались. Наконец, решили:

— Выписать газету, чтобы не мучиться и не слушать напрасно других...

И выписали...

Вышло это у них не скоро, не дружно, но скоро и дружно и при мужиках ничего не выходило...

А все-таки вышло...

Началось от Натальи Лукьяновой.

Привез как-то старшина пособие солдаткам. Получили они его и пересмеиваются: куда деньги девать? А Наталья вывернулась на середину да и говорит:

— Давайте, бабы, газету выпишем... Пра-а...

Чудно показалось, смеются. Некоторые спросили:

— А откуда ее выпишешь?

Наталья тоже не подумала об этом, когда говорила.

Тем и кончилось...

Но не совсем.

Услыхал об этом Прокофий Гордеич и не поверил, а как увидел Наталью, спросил:

— Правда ли, насчет газеты говор пошел?

Наталья не сказала, что неправда, но и не сказала, что правда. Так себе, шутили они с бабами. А как и откуда ее выписать — никто не знает, да и согласны на это не все.

Прокофий Гордеич тоже ничего не сказал в этот раз. Пришел домой и как будто бы ничего не слышал. Колесо катилось попрежнему. Но зернышко попало старику в голову. Задумался он. Ночью лежит — думает, по двору ходит — думает... Беспокоиться начал, тревожиться. Вздумает богу помолиться, а перед глазами — газета. Увидел опять Наталью через неделю и говорит:

— Вот ты пошутила... А знаешь, какая это шутка? Сообразила? Это очень хорошая шутка... Старайся. Я тоже положу на газету, а откуда и как ее выписать, найдем человека...

После этого задумалась и Наталья. Начала она в шутку, а выходит всерьез. Что делать? Отказываться — неловко. Подойти к делу вплотную — тоже неловко: не бабье будто бы дело-то, смеяться начнут... Встала на раздорожьи и не знает, в какую сторону шагнуть.

Старшина приехал еще раз и привез опять пособие солдатам. Наталья совсем не думала, что выйдет так просто. Вывернулась она на середину, положила из полученных на стол двадцать копеек и говорит:

— Кладите, бабы, нечего тут...

— На чего это? — не поняли позабывшие.

— А на газету-то.

Удивляются бабы. Когда это сроду было? Собирали у них на раненых, на колокола, собирали монахи на разные нужды, странники на святые места, а чтобы на газету — этого не было... Старшина тоже ухмыляется. Вам, говорит, мужиков надо, а не газету...

А у Натальи тоже в зубах не вязнет... Откуда и голос взялся, и слова не те, какие говорила раньше, — на себя не похожа. — Что, говорит, мы беднее будем от этого? Мужики больше пропивали, да ничего, а мы не на водку... Кладите!..

Стоят бабы, нахохлились, словно куры перед дождем, и не знают: нарочно или вправду все это выходит. Долго переглядывались да пересмеивались, много было в этот вечер говору на Аннушкиных хуторах, и все-таки Наталья чашка перетянула. Набрала она 6 рублей 40 копеек, принесла к Прокофью Гордеичу и говорит:

— Я свое дело сделала, теперь ты доделывай...

Доделывать оставалось немного. Прокофий Гордеич отыскал человека, человек согласился и собранные деньги направил в столицу. На Аннушкиных хуторах стали ждать. Многие не верили. Многие покачивали головами. Прошло восемь дней. Газеты не было. К восьми прибавилось еще два. Газета не шла. Люди привыкли к обманам. Обманывали их на каждом шагу. При случае обманывали и они, и подписчики с Аннушкиных

хуторов решили, что их обманули, что деньги они бросили на ветер, а самые слабые сказали друг другу:

— Вперед будем умнее...

Прокофий Гордеич был поосторожнее баб. При встрече с Натальей он говорил ей:

— Я верю и ты верь... А бабы поверят потом...

Наталье легко было итти по одной дороге со стариком. В трудные минуты, когда падала вера, она опиралась на Прокофья Гордеича, как на дубовый костыль, который не скоро погнется, и шагали они, закрепившие дружбу, ободряя друг друга по-разному.

Наконец дождались.

Через полмесяца пришел первый №, адресованный на имя господина Сусолина. Бабы еще не совсем осмелились, газету выписали на него и читать ее поручили ему, а уж он будет рассказывать бабам прочитанное.

Это очень памятный день, когда привезли первый №.

Привезла его Дарья Мокеева, ездившая на почту посылать мужу валенки с сухарями. Когда она приехала домой, в избу к ней набежали соседки, и, увидя на столе свернутый лист, таивший в себе секретные тайны, никто не решался его развернуть.

Позвали Прокофья Гордеича.

Взяв газету, старик долго читал самый адрес, по которому она прошла не одну тысячу верст, и уж одним тем был дорог этот вчетверо сложенный лист, что он был свой, свеженький, непомятый, как странник, пришедший из дальних неведомых стран, и старик взволновался... Снимая бандероль, у него потемнело в глазах, дрожали пальцы, съезжали очки в оловянной справе, а строчки сливались в одну сплошную черную дорогу. Из прочитанного он понял немного, еще меньше поняли бабы, стоявшие возле стола полукругом, но все это дело привычки. Чтение налаживалось слегка, понемногу. Со временем и строчки перестали сливаться, и Прокофий Гордеич уже не путался в объявлениях, как раньше, а сразу садился за тот столбец, в котором писалось про дело.

И чем больше скоплялось прочитанных и недочитанных номеров на Аннушкиных хуторах, тем больше хутора походили



на потревоженный улей, из которого подняли пчел. Прочитает Прокофий Гордеич про какое-нибудь местечко, где совершилось вот то-то и то-то, а бабы шумят:

— А у нас почему не так? Мы что повесили головы?

Так вот и устроилось дело с газетой.

Худо ли, хорошо ли — время покажет...

Рассказывая, Прокофий Гордеич постукивал по газете...

— Они выдумщицы... бабы-ти... Им только дорогу не загроживай, только толкни, а уж они покатаются...

А бабы и верно выдумщицы.

Прокофий Гордсич рассказал под конец, как они у него выдумали штуку. Собрались около Натальиной избы, как раньше собирались мужики для курева, и давай толковать. Толковали-толковали и дотолковались до самого главного. Деревня Аннушкины хутора — большая, больше сотни дворов, а школы нет. Ребятишкам приходится подучиваться на стороне. У кого есть лошади да родственники в селах — подучиваются, у кого нет — остаются неподученными. Бабы и раньше видели пустое место на Аннушкиных хуторах, но не догадывались, чего не хватает. А теперь увидели. Дошли до этой точки и остановились.

— Как так? Почему нет школы?

Писарю своему не поверили, а начали искать грамотника со стороны. Нашли. Грамотник сочинил им бумагу, и бабы направили ее в уезд.

— Так и так, пишут, желаем иметь школу. Школы у нас нет, а без грамоты нам никак нельзя.

Прокофий Гордеич успокаивает баб:

— Шагнули — шагайте дальше... На полдороге не останавливайтесь... Я верю и вы верьте... Дадут... Нельзя не дать... Нужно...

Наталья и в этом деле идет впереди, а в трудные минуты опирается на старика, который сидит на Аннушкиных хуторах, как старый одинокий король в маленьком разоренном королевстве, и старой, но еще твердой рукой благословляет начинающих трудное новое дело...

## ДЕЛО ОТ БЕЗДЕЛЯ

**К**огда наступили летние каникулы, учительница Рожкова сказала:

— Теперь что делать?

Делать было нечего... Оставалось одно: или ехать скорее домой, или сидеть и дожидаться здесь осени. В школе стало пусто. Жить в ней осталось лишь несколько запертых мух. Вешнее солнце разложило по вымытому полу светлые кривые дорожки; дорожки косо поехали вверх под желтый засиженный потолок. Как будто вся жизнь уходила по ним, весь смысл переделанного за зиму дела. Поглядывая на сдвинутые парты в переднем углу, на маленький недожженный огарок свечи, на котором повисла умершая муха, учительница говорила:

— Уеду...

Небольшая квартирка из двух комнат походила на упавшее разоренное гнездо. Занавески с окон были сняты, безделушки уложены в сундучок, и сам сундучок, окованный жестью, стоял у дверей, дожидаясь извозчика. Неубранным оставался один самовар. С ним Рожкова проводила последние ненужные дни, но речи его были нерадостные. Каждое утро и каждый вечер, попыхивая, он твердил, что надо ехать, что делать здесь нечего, все переделано. Рожкова заглядывала в книжку, которая, не закрываясь, лежала у нее на коленях, но и книжка гнала ее отсюда и как будто жалела. В ней рассказывалось то, чего совершенно не было в жизни сельской учительницы, и Рожкова опять говорила:

— Уеду...

Репьевка была деревня из двух улочек, и в полдень эти улочки нагоняли тоску. Выходя на крылечко, учительница

подолгу смотрела вперед, цепляясь глазами за соломенные крыши... Бродили куры, горланили петухи, жалобно мычали телята из-под упавших плетней, плакали ребятишки, посаженные на дорогу. Изредка вывертывалась баба в подоткнутой юбке, медленно проходила старуха в черном платке. Учительница закрывала глаза и старалась представить, что бы с ней было, если бы она осталась вот здесь, в плачущем, мяукающем безлюдьи, отравленном духотой и зноем... Наверно бы не выдержала все думать и думать...

У нее была подруга-учительница, и Рожкова написала ей:

— Милая Таня! Сегодня я немножко поплакала. Я все еще в Репьевке, и не знаю, что делать. Школа закрыта. Наступают долгие летние дни, которые нечем заполнить... Наступает скука, которую нечем прогнать... Уехать тоже некуда. Если бы было какое-нибудь другое новое дело, я бы лучше отдохнула за ним, но другого дела не находится. На рукоделье глаза не глядят. Книжки расстраивают... Думаю тронуться в город и все-таки боюсь. Либо он отвернется, не примет меня, либо я отвернусь от него...

В пятницу она пошла по Репьевке искать ямщика.

Был вечер.

Еще не все вернулись с полей, но уже у многих ворот стояли телеги приехавших. Босые бабы кормили грудных, жадно высасывающих молоко. Улицей торопливо бежали овцы, хрюкали свиньи, ревели коровы, слышалось хлопанье кнутов, и учительница в беленькой кофточке потонула, пропала, покрытая пылью. Закрывая лицо, она вошла в переулок и притаилась за чьей-то стеной. Сзади в сенцах пищал ребенок, потом что-то стукнулось, опрокинулось, и тоненький писк превратился в надорванный плач. Учительница полюбопытствовала и заглянула в сенцы. Там хозяйничала огромная пестрая свинья, таскающая по полу мешок с отрубями, а на полу, залитый водой из опрокинутой кадки, барахтался двухлетний Егорка! Впрочем, он совсем не был похож на ребенка. Горе и нужда исказили маленькое тело и, кроме жалости, оно вызывало невольное отвращение. У него были тоненькие кривые ноги, большой лукошечный живот, набитый сухой непрожеванной кашей, и вшивая, невымытая голова.

Учительница вздрогнула. Ей показалось, что свинья, таскающая мешок с отрубями, может и его схватить за голову и так же трясти, как и мешок, и она взяла Егорку на руки. Он был грязный, и от грязных рук, вцепившихся в белую кофточку, остались следы.

— Ну, не плачь же, не плачь!—говорила она, дотрагиваясь до вшивой, марающей головы, но ребенок плакал и, тыкаясь губами, нашаривал грудь. Не зная, что делать, учительница вошла в избу. Там было сыро, темно и не убрано. На столе черной шапкой сидели мухи, доедая забытый кусок. Кошка на лавке хлебала молоко из ковша. По полу кружились две курицы, отыскивающие тараканов.

Учительница поморщилась. А когда вернулась из поля Егоркина мать, она сказала ей, показывая на ребенка:

— Няньчаюсь немножко...

И начала рассказывать, как она попала сюда. Баба не слушала.

— В нашей жизни нельзя иначе,—сказала она.— Не до этого.

— Но ведь он может сделаться идиотом, дурачком? Может умереть.

— И хорошо бы сделал, кабы умер... Я тоже не виновата...

Ямщика не пришлось найти в этот день. Учительница вернулась домой расстроенная.

— Вот я скучаю, а люди мучатся,—думала она.— Мне нечего делать, а люди замучены делом. Как же это?

Когда-то, идя в деревню, учительница говорила:

— Буду жить там, помогать, чем могу...

И будущая жизнь представлялась ей, как подвиг... Теперь же, ходя по комнатам, она думала:

— Где мой подвиг? В чем?

Выходило так: не то жизнь обманула ее, не вызывая на подвиг, не то она обманула жизнь. Но подвига не было. Вместо подвига была служба, разбитая на часы, ползущая скука и длинные, утомительные вечера.

В девять часов прибежала Маринка-прислуга и сообщила новость: у Петрухиных утонула девчонка в лоханке. Оказывается, что ребятишки могут тонуть и в лоханках.

В эту ночь Рожкова уснула не раздеваясь. Проснулась поздно. Немножко стучало в висках. Хотелось еще полежать. Закрывши глаза, она снова легла. Потом неожиданно естала, присела к столу и начала писать:

— Милая Таня!

Посмотрела на написанное и легонько вздохнула. У дверей, хранивший в себе безделушки, стоял маленький сундучок. Раньше, глядя на него, представлялась дорога, покачивающийся тарантас, потихоньку плывущий на станцию, и самая станция. Но теперь он уже не тревожил.—Милая Таня!—чертили дрожащие пальцы. Хотелось что-то рассказать, в чем-то признаться, но буквы от волнения выходили кривые, неровные, мысли в голове путались, и письмо осталось недоконченным.

В воскресенье утром Рожкова вышла на улицу. Дойдя до той избы, где жила Егоркина мать, она вошла в переулок и очутилась в знакомых сенцах. Егоркина мать лежала на полу, положив голову на порог. Спала. На ней черным горохом сидели мухи, путаясь в волосах, но она не чувствовала их и лежала как мертвая, обнажив голые поцарапанные ноги. Учительница постояла над спящей, подумала, но будить не решалась. Однако, баба проснулась сама и, увидя вчерашнюю гостью, неохотно подняла отяжелевшую голову.

— Что надо?—спросила она.

— Я к тебе,—торопливо сказала учительница.

— Ну?

— Да ты встань... Я по серьезному делу...

Баба поднялась.

— Вот что!—у Рожковой вспыхнули щеки.—Я хочу помочь тебе.

И, волнуясь, она рассказала, что хочет взять Егорку к себе, не в дети, не в приемыши, а только на лето. Делать ей все равно нечего и ехать некуда, и Егорка у нее не будет, как теперь, валяться с нечесаной головой. Баба не поверила.

— Ничего не выйдет,—сказала она.

— Я не только его, я еще наберу,—сказала учительница.

— И всех будешь мыть?

— И всех буду мыть...

— Что же за выгода тебе?

— Я так, без выгоды...

— А кормить чем?—спросила баба.

— Будете давать молока, пшена,—вот и пища... Подумай,— сказала учительница.— А я зайду.— И направилась к Дарье Мионовой.

Дарья возилась с колесом на дворе. Это была еще не старая баба, лет тридцати, но ребятишки так много высосали из нее крови, так часто приходилось ей недосыпать из-за них по ночам, что она совершенно поглупела и походила на тихую деревенскую дурочку с большими непонимающими глазами. Когда учительница рассказала, зачем она пришла, Дарья заплакала. Не верилось ей, что есть такие люди, которые могут взять чужих ребятишек. Когда это было?

Учительница думала свое. Она уже не искала виноватых. Здесь все виноваты: и матери, которые, подчиняясь законам, рожают; и дети, которые, не умирая, мучают матерей; и вся эта жизнь, лишенная света. Одного боялась Рожкова: хватит ли силы? Одиноких было много, горе попадалось на каждом шагу, выглядывало из каждого окошка, и сердце тревожилось: хватит ли силы?

## Н Е Р А З Б Е Р И Х А

**П**ередо мной две женщины: старая и молодая. Старая уже отжила свое время, молодая только что начинает жить. Одна из них потеряла сына, другая — мужа<sup>1</sup>. Обе в свое время поплакали, потужили, и обе должны были кончить. Всю жизнь не проплачешь... Но кончили они плакать не вместе. Молодая кончила раньше. Она потеряла только мужа, только человека, которому отдали ее глупой девчонкой, и сердце ее не перестало от этого биться. Сердце осталось сердцем, жаждущим жизни, и она потянулась к ней, как бабочка на огонь, не думая о собственных крыльях. Сначала неуверенно, робко, потом посмелее...

Старуха печалилась дольше...

В ней плакали старость, беспомощность, боязнь перед жизнью, которой нужны только сильные да молодые, — боязнь оказаться ненужной, выброшенной под черное окно. Сын для нее был вроде костылей, на которые она рассчитывала опереться в последние дни, и она плакала об этих костылях.

Женщины стали врагами друг другу.

Молодая отвернулась от старой и пошла своей дорогой... Молодая не захотела состариться в двадцать шесть лет, чтобы потешить старуху, и старуха взглянула на молодую враждебно...

Вначале весь сор оставался в избе.

Но день за день сору становилось все больше, и его приходилось выносить на дорогу. Воркотня надоедала. От упреков у молодой вспыхивали щеки, как-то по-новому загорались глаза, покорные раньше, и жить в одной избе стало тесно...

Жизнь раскололась...

---

<sup>1</sup> Убиты на войне.

На одной половине сидела старуха, словно подгнивший пень на отвалившейся льдине, на другой — молодая, чувствующая силу. Но речушка, на которой они плыли, была маленькая, берега ее узенькие, и они старались вытолкнуть друг друга.

— Не мешай мне! — говорила сноха. — По-твоему все равно ничего не будет.

— И по-твоему тоже ничего не будет... — отвечала старуха.

Первым взялся рассудить их старик Погудаев, опытный человек.

— Чего делите? — спросил он. — Чего не хватает?

Стали разбирать.

Оказывается, всего хватает пока... Хлеб есть, солома есть, скотина есть, просто — ссорятся бабы от глупости. Старик так и решил, что от глупости...

— Вот что! — сказал он обеим. — Помириться... Убейте в себе беса-то. Бес это вас подзадоривает... Ему такие дела на руку. А вы возьмите да убейте его...

— Это я буду мириться? — сказала старуха.

— А ты думала — я? — перебила ее молодая.

— Ну, не дожدهшься ты этого! — кричала старуха. — А из избы все равно не выгонишь... Не придется!..

— Разве я гоню? — кричала молодая. — Я не гоню. Живи. Я давно тебе говорю: „Живи, а мне не мешай“. Пить-есть будем из одной чашки, а думать и жить — каждая по-своему... ты — как тебе хочется, а я — как мне хочется... Я тебя не буду учить, ты меня не учи...

— Слушайте! — сказал Погудаев, чувствуя бессилье. — Вас не разберешь... Ты не виновата, она не виновата, — кого винить третьего?..

— Виновата она! — сказала старуха. — Ей хочется по дорожке пойти<sup>1</sup>...

— Нет, неправда! — сказала молодая. — Я не хочу по дорожке пойти... Я только хочу жить, а ты мне мешаешь... Разве я виновата, что я хочу жить?

— Верно! — подумал Погудаев. — Молодому — молодое... Держать нельзя.

<sup>1</sup> Распутничать.



Но вслух сказал:

— Хитрое это дело—людей судить... Ошибешься...

Ссора перешла на общее рассмотрение...

Судила вся деревня.

Старые стояли за старую, молодые — за молодую. Старые были стары и не хотели понять молодых. Молодые были молоды и не могли понять старых.

Шуму прибавилось.

Но легче от этого не было.

Избенка делалась еще меньше, еще теснее, и в этой тесноте чувствовалась какая-то искра, готовая вспыхнуть и переколоть горшки; с утра и до вечера натыкались друг на друга двое враждующих глаз, готовых сцепиться, и, наконец, дело дошло до того, что старухин сундучок, хоронившийся под лавкой, очутился на дворе. Старухины башмаки, в которых она ходила в сухую погоду по праздникам, валялись около сундучка... Молодая выкинула их.

Молодая чувствовала силу...

От убитого мужа у нее было двое детей, и это давало ей право хозяйки в доме.

Старуха проигрывала.

У нее был единственный козырь — старость, которым она старалась разжалобить сердце, но это было ничто в сравнении с ребятишками...

Ребятишки — наследники...

Их не выгонишь.

Они должны оставаться в отцовском доме, а с ними должна оставаться и мать.

Старухе приходилось уходить на квартиру...

Кто-то советовал ей обратиться к закону, будто бы защищающему стариков, и вот она в волости...

Притащилась сама, вытащила за собой молодую.

Их будут судить...

Будут судить молодую, ищущую жизни, и старую, мешающую себе и другим.

Обе они в ожидании расправы.

Одна сидит в коридоре в черном платочке, завязанном двумя узелками на шее, другая — на крылечке, в малиновом полушалке.

Старухино сердце тревожится...

Она сидит понурая, сгорбленная и, когда на нее смотрят другие, старается плакать...

Вся ее сила в слезах...

Ими она подготавливает публику, жалобит невидимых судей и умягчает законы, которые должны укрыть ее в старости...

Молодая не плачет...

Ее укрывают ребята.

За ними она, как за стеной. Ведь если осудят ее, осудят ребят... Но у какого закона поднимется рука на ребят?..

Ребята тут же.

Одному пять лет, другому два года. Один уж кой в чем разбирается и сосредоточенно смотрит вокруг, заглядывая в коридор, где сидит бабушка.

Другой лежит на руках.

Толпа и здесь разделяется на две партии. Одну трогают старухины слезы, другую — ребятишки вокруг молодой; сама молодая, поджавшая губы...

Видимо, она приготовилась ко многому...

Начинается суд.

Наперед выступает старуха, готовая вылить все слезы. Она обвиняет. Молодая стоит позади, поглядывая через голову ей на строгих — намеренно строгих — судей... Но сердце ее не тревожится. У нее ребятишки. Один из них — тот, что поменьше, завернутый в тряпки — начинает вдруг плакать и плачет, как будто нарочно мешая старухе. Она тоже плачет. Но мальчишка мешает. Голос у него звонче бабушкиного, он наполняет все „зало“, набитое народом, даже выносится за окно, и старуха в нем тонет... Старуху не слышно... Все глядят на молодую. Всем становится тяжело в этой атмосфере, наполненной плачем, и один из судей, сидящий на левую сторону от главного судьи, встает и уходит.

Старуха сбивается в своих обвинениях, путается.

— Короче! — говорит ей главный судья.

Но короче она не умеет и, сбита с толку, молчит.

— Так в чем же винишь ты ее? — спрашивает судья, показывая на молодую. — Из-за чего у вас началось?

Старуха молчит.

Она и сама не знает — из-за чего...

Просто вот так — началось да и все...

— Я, господа судьи, не виновата! — выступает вперед молодая. — Если б не дети, я бы давно плюнула на нее... не стала бы мучиться изо дня в день. Заела она меня, загрызла...

— Потому что бесстыдница ты! — вставляет старуха.

— Какая же я бесстыдница?

— Надо бы хуже, да некуда...

— Ну, говори — какая... говори!.. Пусть господа судьи послушают.

— Потаскушка ты! — неожиданно, словно топором рубит старуха. — Бездомовница... Все глаза на мужиков проглядела. Обрадовалась, что мужа-то нет.

— Слышите! — волнуется молодая. — Вот всегда эдак позорит. И смеяться нельзя мне. Почему — не плачу. А как мне плакать, коли слез у меня нет.

— Молчи, срамница! — цыкает старуха.

Но молодая не слушает.

— Она вот жалуется, что я выгоняю ее, но я не выгоняю... Я давно говорю ей: — Живи. Пить-есть будем из одной чашки, а думать по-разному... — Но она не хочет... Ей хочется переделывать меня, ну, а этого не будет... Мне не семьдесят лет... Был муж, жила с мужем... Теперь с другом хочу жить. Кому какое дело? Я знаю, что делаю... Хорошо будет мне и плохо будет мне. А она встает на дорогу... Сердце точит... Ты, говорит, бесстыдница. Ты, говорит, не жалеешь покойного мужа... не плачешь о нем... А что ему легче от этого станет? Все равно не услышит...

— Как же вас мирить? — спрашивает главный судья.

— Нас мирить нельзя! — отвечает старуха. — Нас делить надо.

— А делить как?

— Вам лучше известно... Вы — судьи...

— Помиритесь! — говорит судья.

— Я мириться не буду! — мотает головой старуха.

— Я не ссорюсь! — спокойно говорит молодая. — Она начала.

Главный судья машет рукой.

— Слушай, старуха! — говорит второй судья, — слушай, что я тебе скажу...

Но старуха не слушает.

Она чувствует, что проигрывает и здесь, что молодая одерживает верх, и старается взять свое криком.

В „зале“ беспорядок.

Кто обрушивается на старуху, кто винит молодую.

— Вот они бабы!—говорит мужик в синей поддевке.—Дай-ка им волю, что будет.

— Ничего и не будет!—шумит ему в ухо бабенка из-за чужого плеча.—Только вы немножечко укоротитесь, поменьше будете бородами трясти. А то уж больно трясете вы ими... Я-ста да мы-ста... Начальники бабы...

— Брось квакать!—говорит мужик, поворачивая голову.

— Ну, да ведь и мне на мозоль не наступай!—вызывающе смотрит бабенка.— За словом и я в карман не полезу. Не думай, что думаешь...

Кто-то машет, машет рукой и, протискиваясь в коридор, говорит:

— Тут неразбериха!

Это слово, сказанное без ненужного раздражения, я уношу с собой.

... Неразбериха.

Да, пожалуй...

Теперешняя жизнь представляет из себя настоящую неразбериху... Как речушка в весеннее половодье. Кто-то напирает на нее, кто-то ширит ее застоявшиеся воды, и она, потревоженная, лезет из узеньких берегов, разливается, и в мутных потоках ее есть что-то пугающее.

В теперешней жизни тоже, говорят, есть что-то пугающее... Очевидцы утверждают, что она похожа на какую-то пляску... Все устои, державшие ее, будто бы рушатся. Вся мораль, воспитывающая деревню, идет на смарку... А так как превышающим числом теперь остались бабы, то и виноваты во всем только они. С ними будто бы творится что-то особенное. Похоже, что до сих пор они сидели где-то в норе, под каким-то замком и, чувствуя давление мужиков, молчали.

Но вот кто-то пришел и снял эти замки... давление исчезло. Бабы очутились на воле и сбросили узду, сдерживающую в них темные порывы.

Почему же не светлые?

Уверяют, что светлых нет.

Я не знаю, так это или не так, и не буду уверять, что это так, не буду и доказывать, что это — не так...

Время рассудит...

Для меня только одно ясно, что жизнь ломается, и на одну сторону идут старики, напуганные ломкой, по другую — молодые, здоровые, сильные, отвернувшиеся от стариков.

Для стариков жизнь — горе, огромное полотно, покрытое темными пятнами; для молодых жизнь — просто жизнь, которая может уйти и не вернуться, и они торопятся использовать ее, как кому хочется...

Да, это новый взгляд на жизнь.

Раньше этого не было...

Раньше на нее смотрели как на избу, кем-то отстроенную наперед, и жили в этой избе, боясь переставить скамейки... Тесно, неудобно, а переставить, переделать боятся... Переделать должен кто-то другой...

Теперь в этой избе устраиваются сами, по своему вкусу.

Раньше жизнь представлялась огромной-огромной...

Теперь наоборот.

Жизнь кажется страшно короткой...

Хочется жить — живи сегодня... На завтра не надейся...

И люди торопятся жить...

А куда они придут и куда заведет их погоня за жизнью, время покажет.

Время разберет эту „неразбериху“, распутает в беспорядке навязанные узлы...

С выводами торопиться пока еще рано...

После суда я вижу старуху убитой, расстроенной. Она проиграла; законы, защищающие стариков, ее не защитили...

Молодая спокойна.

Она полна уверенности, сознания силы... Жизнь для нее праздник, на котором она намерена повеселиться, не отдавая отчета другим...

— Замуж пойдешь? — говорю ей.

— А иначе — разве нельзя? — спрашивает она почти удивленно...

— Неудобно... — меряю ее глазами, стараясь смутить. — Замужем крепче...

Но она не смущается.

— Я уж жила венчанной, — отвечает обдуманно, — попробую еще невенчанной... Не все ли равно? Если грешно, то и так грешно, и эдак грешно...

— А все-таки грешно?

— Говорят, что грешно! — улыбнулась она. — Старых людей спроси, они лучше знают.

И кивнула головой на сгорбившуюся свекровь, потерявшую веру в закон.

Старик Погудаев прав:

— Хитрое это дело людей судить... Ошибешься...

И я стою в стороне...

Время рассудит.

Живут люди так, а не эдак, — пусть живут... Увидят, что живут не так, начнут по-другому... Все приходит в свое время.

И ничто не стоит на одном месте.

## ВИТУЛЬ

### 1

**З**овут его Прохором, а Витуль — это прозвище.  
Живет на краю.

Избенка крошечная, из тоненьких бревен. Двумя окошками глядит в степь за околицу, третьим — на двор, в соседнюю крышу.

Людам с одной с ним улицы все чего-то мало. У того амбар невелик — зерно ссыпать некуда, у того конюшня не достроена, у третьего изба не под железной крышей. Только Витулю пожаловаться не на что.

Амбар ему вовсе не нужен.

Урожай с душевой земли частью ссыпает он в чужие амбары, заевши его месяцев на пять вперед, частью тащит на базар. „Лишнее“ держит в кадушках, купленных у лавочника Евстаха.

Можно обойтись без амбара.

Конюшня тоже не такая вещь, чтобы из-за нее не спать по ночам, и нужна она больше для тех, у кого имеются лишние овцы с ягнятами.

У Витуля и с этой стороны спокойно.

Нет ни овец, ни ягнят, ни стельных коров с подтелками. А тот коняга, который в зимние ночи расхаживает по двору, обнюхивая сугробы, не различает погоды: привык. Походит-походит, да и встанет в уголок с той стороны, откуда дует поменьше.

— Вот живет, не тужит! — говорили про Витуля.

А Витуль не виноват, если богатство не приходит к нему. Насильно его не затащишь. Завелась пара коней, подумал он:

— К добру или к худу?

Оказалось — к худу.

Выгнал их весной Витуль за село, радуется:

— Пускай пошатаятся, утром пораньше схожу за ними.

А другой человек говорил себе в эту ночь:

— Живу-живу, толку мало. Лошадь, что ли, у кого украсть?

Вышел за село, наткнулся на Прохорову новокупку, и опять Витуль остался при одной. Долго не мог понять: во сне или наяву творятся такие вещи? Думал плюнуть в лицо обидчице-жизни, потом не захотел. Жизнь не виновата. Она и при одной лошади не хуже, чем при двенадцати.

Так и живет.

Есть — есть. Нет — не надо, дожидается, когда будет.

Жаловаться не любит, и богатства большого, составленного из сотен, не желает. Всю жизнь собирает по пруту, но так весело, с такой благодарностью, будто жизнь его наделяет чем-то особенным.

Жена не такая у него, и часто плачется над собой:

— Ну, и дура была я, Прохор, вышла за тебя! Сто раз, чай, каюсь.

— А чем тебе плохо? — пошутит Витуль.

— А чем больно хорошо? Люди жакетки пошили, а мне на улицу выглануть не в чем.

Это верно, жена у него без жакетки.

Для нее это очень маленькая вещь, приобрести которую ничего не стоит, а для Витуля — большая. Но сердце у него доброе. Долго думает он, как перевернуться, чтобы избавить жену от тоски, и придумывает один выход: идет в сени, заглядывает в кадушки, где хранится зерно, пересыпает из кадушек в мешки. С вечера подкармливает лошадь, думает о ценах, а утром на зорьке торопливо гремит на базар, везя с собой бабу, подпрыгивающую на мешках. Дорогой говорит ей:

— Зря сорить деньги не будем. Заберем, что следует, и назад.

И баба говорит ему:

— Дорого покупать не будем, мужик. Купим подешевле и хватит всем трем. Когда я, когда девки наденут.

Витуль радуется:



— Хорошо вот так по согласью жить!

Приедут они на базар, походят, поглядят, потолкаются, вернутся домой. Привезут полусукна на жакетку, ему на штаны, ребятишкам колача с пряниками — разговору да радости хватит на целую неделю.

Это ничего, что в кадушках не хватит до пасхи — дело привычное. Лишь бы детей порадовать. А у него их ни много ни мало — только шестеро.

Девки все.

Двух замуж можно отдавать, третья догоняет старших ростом, четвертая бегаёт в школу, пятая учится ходить, шестая лежит в люльке.

Целый девишник.

Днем — меньше: расползутся — не видать; а ночью — тут голова, там голова, наступить негде. И за столом, когда сидят, кажется, что у Витуля поминки справляюг.

Но он и на это не сердится.

— Пускай живут!

## 2

Однажды баба сказала ему:

— Я, Прохор, торговать буду.

— Чем?

— Водку буду продавать.

Витуль предупредил:

— За такие дела в острог посадят.

Прасковья ответила:

— Волков бояться — в лес не ходить. С таким, как ты, никогда не поживешь по-хорошему. Девочек замуж отдавать, а у них нет ничего. Кто возьмет?

Витуль сказал спокойно:

— Возьмут, кому здоровых надо. Купцы не приедут.

Но Прасковья упрямая. Захочет чего — не мешай. Можно или не можно — не ее дело. Если захотела, значит можно. Десять ночей нашептывала она на ушко мужику, в одиннадцатую — победила. Встал утречком Витуль пораньше, насыпал шесть челячков пшенички, затрусил на базар. Ехал и думал:

— Пусть обожгется, я отвечать не стану.

Вечером в сундуке у Прасковьи стояло восемь полубутылок в красных шапочках и восемь бутылок. Торговля началась в добрый час.

Витуль не радовался.

— Нехорошее это дело! Лучше девок отдать в люди, пусть зарабатывают на себя.

Прасковья не слушала.

Она и сама пробовала из полубутылок тихонько от мужа, ходила веселая, заигрывающая. И хлебом теперь не нуждались они: выручили добрые люди. Особенно Степан Мещеряков старался. Возьми да возьми, Прохор, десять пудов — отдашь.

Верил Витуль.

Думал, по доброте заботятся люди о нем.

После догадался.

Вышел ночью на двор, на дворе Мещеряков с Прасковьей около плетня прижались. А у нее и юбка выше колен...

Екнуло сердце у Витуля.

Все-таки выдержал, ничего не сказал. Ушел со двора, будто не видел. Утром на печь лег. Обедать начали — не встает. Подошел вечер — Витуль жалуется на лихорадку. Налила Прасковья ему из полубутылки в чайную чашку, посолила.

— Выпей, Прохор Семеныч, согрейся!

Принял чашку Витуль, но не выпил, а неожиданно плеснул водкой в лицо Прасковье.

После думал: мог или не мог убить он жену?

— Нет, не мог бы.

### 3

Беда не приходит одна.

Перед пасхой старшая дочь захворала. Тоже, как отец, на печи валялась. Витуль думал — простудилась, но девки студятся редко. Другие у них болезни. Мать знала — какая болезнь у Иринки, — но не говорила. Позвали бабку, хорошо помогающую девкам. Осмотрела бабка больную, сказала:

— Не скоро!

На этот раз ошиблась.

Утром на другой день Иринка родила сына.

Очень удивился Витуль, когда услышал тоненький голос, не похожий на голос его ребятишек.

Иринка лежала на печи, убитая горем. Около сидела бабка, поила крещенской водой. Парашка, другая дочь на возрасте, убежала. Третья, догоняющая ростом их, прибирала избу. Остальные три сидели на кровати с поджатыми ногами.

Витуль не сразу понял.

А когда догадался, устало присел у стола.

Ребятишки смолкли. Новорожденный тоже притих. В избе наступила тишина. Все притаились, ждали большого несчастья. Сидел Витуль и думал:

— Чего делать?

Иринка с печи сказала:

— Прости, Христа-ради, тятенька, по глупости сделала.

— Бей вот ее, куда хочешь девай. По глупости сделала.

Сказала Иринка это слово — сердце отцовское смягчилось.

— Бей вот ее!

И тихо ответил он ласковым голосом:

— Дураки вы все!

#### 4

На дворе было пасмурно.

Дул ветер.

Мокрыми хлопьями падал мартовский снег, но в избе у Витуля стало светло и отрадно, как в солнечный день.

Вечером искали кума.

Витуль сам ходил из избы в избу по знакомым, кланялся, словно хлеба просил до новины.

Над ним смеялись:

— Вот дурак, не стыдится!

А Витуль и сам не знал: дурак он или нет, и каждому говорил:

— Что делать? Не умел убереечь девку во-время, умей пожалеть.

И сердце его было спокойно.

Осмелившись, Прасковья сказала ему:

— Ты бы, Прохор Семеныч, зыбку еще сделал! Доймет он нас одним криком без зыбки.

Пошел Витуль искать дерева на дворе. Искал и улыбался, поглядывая на мартовское солнце, вешающее сосульки по крышам.

А когда смотрел на мальчишку, разевающего рот, думал:

— Пускай живет! Вырастет — найдет себе место. Не все ли равно?



## ПРИМЕЧАНИЯ

### До 1906 г.

Первые произведения Неверова — стихи. Сочинять их (см. автобиографию) он начал „лет с двенадцати“, т.-е. с 1898—99 г.г. Писал Неверов, видимо, и рассказы, и пытался посылать их в журналы, но получал отказы. Ни одного произведения Неверова до 1906 г. не сохранилось.

### 1906 г.

1. **Горе залили**<sup>1</sup>. Это — первый рассказ Неверова, попавший в печать. Написан он был, вероятно, еще в 1905 г. Напечатан в петербургском журнале „Вестник Трезвости“, изд. доктором В. Григорьевым, 1906 г., № 135—136, март — апрель, стр. 31—39, под заглавием: „Горе залили. Рассказ Александра Неверова“. В конце подпись: Александр Неверов<sup>2</sup>. Текст рассказа дается по „В. Т.“.

2. **Свой человек**. — „Вестник Трезвости“, 1906 г., декабрь, № 144, стр. 35—44.

### 1907 г.

3. **Приехали на базар**. Картинки с натуры. — „Вестник Трезвости“, 1907 г., февр., № 146, стр. 39—45.

4. **Сон Лукьяна**. — „Вестник Трезвости“, 1907 г., май, № 149, стр. 38—44.

5. **Авдотьиная жизнь**. — „Вестник Трезвости“, 1907 г., сентябрь, № 153, стр. 28—31; подзаголовок: „Деревенская история“.

---

<sup>1</sup> Жирным шрифтом набираются заглавия произведений Неверова, вошедших в настоящее собрание его сочинений; светлым — заглавия произведений, не вошедших в это издание.

<sup>2</sup> В дальнейшем, во всех случаях, когда произведения Неверова подписаны: „Александр Неверов“, эта подпись не оговаривается.

## 1908 г.

6. Под песнь вьюги. — „Трезвые Вскходы“, 1908 г., № 6—7, июнь — июль, стр. 51—61; подзаголовок: „Рассказ“. Перепечатано в „Библиотеке Трезвых Вскходов“, № 25, СПб., 1914 г., 12 стр.

7. Статья: „Алкоголизм, как обявательный предмет преподавания в начальной школе“. — „Трезвые Вскходы“, 1908 г., № 8—9, август — сентябрь, стр. 89—93. Подпись: Учитель Александр Неверов. Интересно отметить, что в этой статье Неверов упоминает Бебеля и Маркса.

8. Три года. Маленький рассказ. — „Трезвые Вскходы“, 1908 г., № 10, окт., стр. 9—38. Перепечатан отдельно в „Библиотеке Трезвых Вскходов“. СПб., 1912 г.; ц. 8 к.

## 1909 г.

Сохранилась тетрадка под заглавием: № 1. Для хрестоматии. I. Бытовой отдел. Подбор пока не систематичен. Среди прочего материала она включает следующие произведения А. Неверова:

9. Страшное место. Рассказ. Дата 3/ХІІ (повидимому, 1908 г.); помещен первым в тетрадке.

10. Водка-Госпожа. По Наумовичу.

11. Отчего пил водку бедный мужик.

11-а. Притча о вине.

Кроме того — „Авдотьяна жизнь“, в значительно переработанной и сокращенной редакции по сравнению с текстом „Вестника Трезвости“.

12. Музыка. Напечатан в „Современном Мире“, 1909 г., авг., № 8, стр. 81—95, с подзаголовком: „Рассказ“. Перепечатано в сборнике „В садах“, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924 г., с поправками автора. Текст дается по этому сборнику; сверено с рукописью.

## 1910 г.

13. Серые дни. Напечатан в „Русском Богатстве“, 1910 г., № 3, март, стр. 155—172, под заглавием: „Серые дни. (Рассказ). Посвящается П. А. Зеленцовой“. П. А. Зеленцова — невеста писателя, впоследствии его жена — Пелагея Андреевна Скобелева-Неверова. При жизни Неверова рассказ не перепечатывался, но был им переделан для подготавливаемого сборника ранних рассказов. Вошел в посмертный сборник „Серые дни“, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924. Текст дается по этому сборнику; сверено с рукописью<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Сказанное о тексте рассказа „Серые дни“ (от слов: „Три жизни Неверова...“ до „сверено с рукописью“) относится также и к рассказам: „Баба-Иван“, „Последнее средство“, „Колькин табель“, „Страх“, „Бабыя газета“, „Дело от безделья“ и „Витуль“.

14. **На земле.** Напеч. в „Жизни для Всех“, 1910 г., март, № 3, столб. 1—9. При жизни Неверова рассказ не перепечатывался. Текст исправлен автором для подготовленного им издания сборника ранних рассказов. Вошло в посмертный сборник „Пропавшая страна“, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924 г. в исправленной редакции. Текст дается по этому сборнику<sup>1</sup>.

15. **Баба-Иван.** — „Жизнь для Всех“, 1910 г., № 6, июнь, столб. 17—26; подзаголовок: „(Рассказ Николая Кирилыча)“.

К 1910 г. относится еще рассказ „Глупый вечер“, текст которого неизвестен; упоминается в письме В. Я. Муринова к Неверову от 4 мая 1910 г.

### 1911 г.

16. **Егорка родился.** — „Жизнь для Всех“, 1911 г., № 2, февраль, столб. 211—222; подзаголовок: „Рассказ“. Написано в 1910 г.

17. **Учитель Стройки.** Напечатан в „Русском Богатстве“, 1911 г., март, № 3, стр. 167—193, с подзаголовком: „Рассказ“. При жизни автора не перепечатывался и не исправлялся. Вошел в посмертный сборник „Пропавшая страна“. Воспроизводится текст „Русск. Бог.“.

18. **Преступники.** — „Жизнь для Всех“, 1911 г., № 11, ноябрь, столб. 1477—1492, с подзаголовком: „Рассказ“. Написан раньше 1911 г. (в 1910 или 1909 г.).

### 1912 г.

В 1912 г. в печати не появилось ни одного рассказа Неверова, — его постиг ряд неудач. Написанный им рассказ „Болезнь“ не был принят ни в „Русском Богатстве“, ни в „Жизни для Всех“. Об этом рассказе говорится в письме В. Г. Короленки к Неверову от 15 июля 1912 г.

Кроме того, есть сведения о ненапечатанных произведениях: рассказе „Пустота“ и неоконченной повести, относящейся к 1912 г.

### 1913 г.

19. **Без цветов.** — „Жизнь для Всех“, 1913 г., № 1, янв., столб. 42—60, под заглавием: „Без цветов. Записки А. Я. (I) Неверова. Сыночку Боре“. Рассказ написан значительно раньше — к началу 1912 г.

20. **Отслужившие.** — „Жизнь для Всех“, 1913 г., № 9, сент., столб. 1249—1262. В исправленном автором виде вошел в сб. „Пропавшая страна“; изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924 г.

<sup>1</sup> Сказанное о тексте рассказа „На земле“ (от слов: „Три жизни Неверова...“ до „по этому сборнику“) относится также и к рассказам: „Егорка родился“, „Преступники“, „Без цветов“, „Дети“, „Кой о чем“ и „Среди ополченцев“.



## 1914 г.

21. **Последнее средство.** — „Жизнь для Всех“, 1914 г., № 2, февр., столб. 242—258. Рассказ написан до 1914 г.

22. **Колький табель.** — „Жизнь для Всех“, 1914 г., № 5—6, май—июнь, столб. 682—692, с подзаголовком: „Рассказ А. С. Неверова“.

23. **Пропавшая страна.** — „Жизнь для Всех“, 1914 г., дек., № 12, столб. 1075—1102, с посвящением: „Петру Крестьянскому“. Это — псевдоним Ф. Е. Комарова — П. Ярового.

К 1913—1914 г.г. относится еще недошедший до нас и не принятый „Русским Богатством“ рассказ „Тоскующие и страдающие“.

## 1915 г.

24. **Среди ополченцев.** — „Жизнь для Всех“, 1915 г., № 1, янв., столб. 75—84, с подзаголовком: „Очерки Александра Неверова“.

25. **От неизвестных причин.** — „Жизнь для Всех“, 1915 г., № 4, апр., столб. 499—520. Рассказ посвящен В. Я. Муринову. В исправленном автором виде вошел в сборник „Серые дни“, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924.

26. **Страх.** — „Жизнь для Всех“, 1915 г., № 8—9, август—сентябрь, столб. 1258—1263.

27. В 4-м классе. Напеч. в „Новом Колосе“, 1915 г., № 43, от 6/XI, стр. 550—553 и № 44, 13/XI, стр. 566—569, с подзаголовком: „Дорожное“.

Кроме того, в 1913—15 г.г. Неверовым были написаны рассказы:

а) **Последнее.** Текст неизвестен. О нем сообщает в письме от 8-го июля 1915 г. Неверову секретарь редакции „Жизнь для Всех“ П. Черкасов: «„Последнее“ будет напечатано, только возможно не так скоро попадет в журнал».

б) **Нам тужить нельзя.** В открытке из ред. „Нового Колоса“ от 3/XI 1915 г. сообщается: «Ваш очерк „Нам тужить нельзя“ к печати не подходит лишь по форме... Нужны рассказы — с фабулой».

в) **Среди ополченцев.** (?). Об этом рассказе Неверову пишет М. Горький (авг. 1915 г.). Текст этого рассказа найти не удалось. Возможно, что М. Горький имеет в виду рассказ „Среди ополченцев“, ошибочно его называя.

Есть указания и еще на ряд рассказов Неверова, написанных в эти года, ненапечатанных и несохранившихся.

## 1916 г.

28. **Дети.** — „Жизнь для Всех“, 1916 г., № 1, янв., столб. 25—38, с подзаголовком: „Рассказ А. Неверова“.

29. **Радость.** — „Новый Колос“, 1916 г., № 16, от 30 апр., стр. 218—222, с подзаголовком „Рассказ“. Был перепечатан в журнале „Кооперативная

Жизнь", 1917 г., № 10, стр. 39—42. Вошел в переработанном автором виде в посмертный сборник „Пропавшая страна“, изд. „Земля и Фабрика“ М. — Л. 1924; здесь дается текст этого сборника.

30. **Кой о чём.** — „Жизнь для Всех“, 1916 г., № 7, июль, столб. 303—312.

31. **Бабья газета.** — „Жизнь для Всех“, 1916 г., № 8, июль, столб. 932—940, под заглавием: „В глухих местах. III. Бабья газета“.

32. **Волшебный фонарь.** — „Жизнь для Всех“, 1916 г., № 9, сент., столб. 1073—1080, под заглавием: „В учительском мире. Волшебный фонарь“.

33. **Дело от безделья.** — „Жизнь для Всех“, 1916 г., № 10—11, окт. — ноябрь, столб. 1185—1191. Под заглавием: „В учительском мире. Дело от безделья“.

34. **Неразбериха.** — „Жизнь для Всех“, 1916 г., № 12, дек., столб. 1425—1434. Под заглавием: „В глухих местах. 5. Неразбериха“. Ср. рассказ „Так велит жизнь“, т. V.

Кроме того, в серию „В глухих местах“ входит еще рассказ „Курсистка“. О нем Неверов писал И. Е. Лаврентьеву от 2-го ноября 1916 г. Очерк „Курсистка“ не был напечатан. Текст неизвестен.

Не были напечатаны, по цензурным условиям, „Письма из дома“. Текст неизвестен.

35. **Втуль.** — „Новый Колос“, 1916 г., № 46—47, стр. 522—526.

Вероятно, к тому же времени относится и рассказ „Дудка“.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                               | Стр.    |
|-------------------------------|---------|
| От Издательства . . . . .     | 5       |
| Н. Н. Фатов. — А. С. Неверов. |         |
| 1. Жизнь . . . . .            | 7       |
| 2. Творчество . . . . .       | 21      |
|                               | 1906 г. |
| Горе залили . . . . .         | 41      |
|                               | 1907 г. |
| Авдотьиная жизнь . . . . .    | 53      |
|                               | 1909 г. |
| Музыка . . . . .              | 59      |
|                               | 1910 г. |
| Серые дни . . . . .           | 73      |
| На земле . . . . .            | 92      |
| Баба-Иван . . . . .           | 97      |
|                               | 1911 г. |
| Егорка родился . . . . .      | 107     |
| Учитель Стройкин . . . . .    | 113     |
| Преступники . . . . .         | 143     |
|                               | 1913 г. |
| Без цветов . . . . .          | 157     |
|                               | 1914 г. |
| Последнее средство . . . . .  | 173     |
| Колькин табель . . . . .      | 187     |
|                               | 1915 г. |
| Среди ополченцев . . . . .    | 195     |
| Страх . . . . .               | 202     |
|                               | 1916 г. |
| Дети . . . . .                | 209     |
| Радость . . . . .             | 216     |
| Кой о чем . . . . .           | 221     |
| Бабья газета . . . . .        | 227     |
| Дело от безделья . . . . .    | 233     |
| Неразбериха . . . . .         | 238     |
| Витуль . . . . .              | 246     |
| Примечания . . . . .          | 253     |